

В.Е. Храпов

Кто воспитывает воспитателя?

Содержание

ОТ АВТОРА.....	2
ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ.....	2
«ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ».....	5
«МЫ ДЕТИ ЗАСТОЯ, МЫ ДЕТИ ПРОТЕСТА».....	7
ПРОТИВ ЧЕГО ПРОТЕСТОВАЛ Я.....	10
ЧТО Я ПРИОБРЕЛ.....	14
ЛЮБИТЕ КНИГУ.....	18
НЕ ПО ВТОРОМУ КРУГУ, А НА НОВОМ ВИТКЕ.....	22
ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ В ПОНЯТИЯХ.....	24
СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ.....	27
Состоявшийся поход.....	28
Катина задача.....	30
Чистые зубы.....	31
ПОПРОБУЕМ И МЫ СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ.....	32

БК 74.9 Х90

Автор: ХРАПОВ Валерий Евгеньевич — педагог, журналист, автор брошюр
и статей по проблемам воспитания.

Редактор: Свердлова О. Г.

ОТ АВТОРА

В педагогической литературе самые разные авторы часто приводят слова К. Маркса о том, что воспитатель сам должен быть воспитан. Верные, нужные слова. В них и одна из самых важных педагогических аксиом, и напоминание, и даже иногда упрек всем нам, папам и мамам, бабушкам и дедушкам, учителям и наставникам, — всем профессиональным и непрофессиональным воспитателям.

Но чем чаще встречал я эти слова, тем больше и больше задумывался: «Но кто и как воспитывает воспитателя?» Ведь воспитателями-то мы становимся, в общем, автоматически: с появлением первенца в семье, с получением диплома педагогического вуза или училища. Но из этого же вовсе не следует, что мы автоматически становимся воспитанными воспитателями.

Как сопрягается философская формула Маркса о революционной практике и арифметика нашей повседневной жизни, в которой мы воспитываем и воспитываемся?

Ответ на этот вопрос мне пришлось искать самому. И тогда, когда работал учителем истории в одной из московских школ. И тогда, когда стал научным сотрудником НИИ общей педагогики Академии педагогических наук СССР, и потом, когда изучал опыт учителей, удостоенных высшего профессионального звания — народный учитель СССР. Так или иначе, приходится отвечать мне на эти вопросы и после ухода из академии, отвечать в качестве корреспондента газеты «Известия» по отделу образования и молодежных проблем.

Впрочем, ошибаюсь. Ответ на вопрос «Кто воспитывает воспитателя?» я стал искать, во многом неосознанно, еще до того как стал профессиональным педагогом. Ведь я успел стать отцом.

И когда издательство предложило написать книжку — ответ на этот непростой вопрос о том, кто воспитывает воспитателя, мне показалось, что я легко и быстро справлюсь с этой работой. Писал, писал... Но книжка не получалась. Почему? Скорее всего потому, что писал о фрагментарных встречах, вырванных из контекста жизни, писал о других с позиции внешнего наблюдателя, а писать-то надо было изнутри, о себе, о длительном, мучительном, бесконечном и радостном процессе воспитания и перевоспитания себя самого. Писать о себе, об обыкновенном учителе, обыкновенном отце, но кому это интересно? Ну разве что самым близким людям, детям, у которых все впереди. И я решил написать эту книжку-исповедь для старшего сына, перед которым и сейчас чувствую себя во многом виноватым. Так окончательно оформился замысел этой книжки.

Состоялась она или нет, судить не мне. Я просто старался быть честным и перед самим собой, и перед своим читателем. В этой книжке нет ничего придуманного. Что было, то было. И в школе, и в семье, где шло и идет воспитание воспитателей. Очень непростое, повторяю, воспитание. Но тем важнее разобраться в нем. Единственно, что я себе позволил — это изменить некоторые имена и фамилии по соображениям, которые будут понятны дальше.

ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ

Да, Сережа, время летит быстро. Скоро тебе семнадцать. До окончания школы остались считанные месяцы. Но я, честное слово, не знаю, стоит ли тебе поступать в педагогический институт. Почему? Да потому что не уверен, не знаю, готов ли ты к той огромной внутренней работе, на которую должен быть обречен каждый учитель, если он хочет стать настоящим учителем... Впрочем, при чем тут будущая профессия?

Каждый из нас вне зависимости от профессии обречен на педагогическую работу. Лет через пять у тебя появится сын, а может — дочь. Да-да. Не надо смеяться. Застенчиво улыбаться, отмахиваться. Правда, в семнадцать лет я бы и сам смеялся, если бы кто-то сказал мне нечто подобное. Но я родился тогда, когда моему отцу, а твоему деду было всего двадцать четыре. Когда родился ты, нам с матерью было по двадцать три. Так что двадцать два или двадцать один, с поправкой на акселерацию, вполне вероятный возраст начала твоего отцовства. Осталось не так уж много времени, чтобы ты осознал и постарался не допускать тех ошибок, что натворили мы с матерью с момента твоего рождения.

Правда, я боюсь, что ты или твоя будущая жена не захотите обременять себя детьми. Сейчас это модно. Модно и считать затраты на детей. Материальные, без духовных приобретений. Мой знакомый как-то подсчитал, что для того, чтобы одеть, обусть, выкормить одного ребенка от 0 до 18 лет, требуется как минимум 20 тысяч рублей. Для двоих соответственно — 40 тысяч. Пять автомобилей «Жигули». Сегодня многие предпочитают иметь автомобили. Ты тоже любишь их, даже права успел получить...

Но если у тебя будет машина вместо детей, то это будет первая и, пожалуй, самая главная ошибка в твоей взрослой жизни. Детей в семье должно быть как минимум двое. Может, не сразу, не через год-два после свадьбы. Психологи рекомендуют сейчас молодоженам сначала осмотреться, приглядеться друг к другу, притерпеться, а уж потом взваливать на себя ответственность за детей, которые, как утверждают те же психологи, должны быть лучше всего погодками.

Почему как минимум двое? Нет, не только потому, что один-единственный, над которым все дрожат, может очень быстро стать заласканным эгоистом, избалованным излишним вниманием соперничающих между

собой за детскую любовь взрослых родственников. Это не самое страшное, хотя во всем хорошо чувство меры.

Чем больше у нас детей, детей не в тягость, тем больше у нас возможности прожить жизнь разнообразнее, глубже, переосмысливая прожитое и пережитое, тем больше шансов стать лучше, совершеннее. Поверь моему отцовскому опыту, а еще лучше — проверь его.

Максим Горький говорил: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Спорить с ним сложно, да я и не собираюсь. Но перефразируя знаменитое изречение, могу сказать, что всем хорошим во мне я обязан вам с Димкой. Еще — моим ученикам, встречаю с добрыми, умными людьми и в жизни, и в книгах. Да - еще, наверное, сотням статей на педагогические темы, которые мне удалось написать с их, но прежде всего с вашей помощью, хотя вы и не всегда знали об этом. Вы просто своим существованием, своими радостями и горестями, смехом и слезами, бесконечными вопросами, замечаниями, протестами заставляли меня думать, спрашивать не только с вас, но и спрашивать себя и с себя. Наши общие дела и наши размолвки были и остаются единством и борьбой противоположностей, которые и есть один из источников развития. В том числе и моего, и вашего. Без этого, как мне кажется, оно просто невозможно.

В этом я, конечно, не открыл для тебя Америки. Давно сказано: «Если хочешь чему-нибудь научиться, начинай учить других». Учить других — миссия любого взрослого. И отца, и матери. И учат, многие учат. Вот только сами мало чему учатся. Почему? Я постараюсь ответить на этот вопрос. Но на него, к сожалению, нельзя ответить сразу. Так что наберись терпения, читай, думай, не соглашайся, спорь и сомневайся. Сомневайся и во мне, и в себе самом. Истиной в последней инстанции не обладает никто. Да и обладание такой истиной вряд ли принесет счастье. Ведь счастье всегда связано с изменением, с движением, с преодолением трудностей, с победами, в том числе и над самим собой вчерашним.

Тебе, как первому, доставалось не лучшее. С твоим появлением на свет в нашей маленькой семье, поселившейся на четырнадцать метрах московской коммунальной квартиры, происходили в миниатюре практически те же самые сложные процессы, что и в большой нашей стране. Удивительного в этом ничего нет. Мы все дети своего времени, своей истории, и решаем, в сущности, одни и те же проблемы. Но одна из них мне кажется особенно важной: какой стиль отношений будет господствовать в семье, приказной, авторитарный, основанный на подчинении и силе, или демократический, основанный на взаимоуважении не только взрослых, но взрослых и детей. Эту проблему я решал для себя долго и мучительно. И не уверен, что решил до конца.

Это ведь совсем недавно, в 1986 году, родилось понятие «педагогика сотрудничества». А тогда, в 1971-м, когда родился ты, мы о подобной педагогике ничего не знали и знать не могли. Только чувствовали, смутно ощущали, что что-то не так. Что-то не то в наших педагогических взглядах, привитых нашими семьями. Трудно, очень трудно преодолеть то, что складывалось веками, те «педагогические» традиции, которые вошли не только в нашу плоть и кровь, а в плоть и кровь практически всех окружающих. Сколько диких, ненужных догм в нас сидит, ни ты ни я представить себе не можем.

Как ты знаешь, моя будущая жена, а твоя мать, и я росли в совершенно противоположных условиях, в семьях, живших весьма разными укладами. (Я не о материальном достатке, он был приблизительно равный и очень средний, родители наши были интеллигентами первого поколения, начинали с рабочих.) Я о традициях воспитания в каждой из семей.

Твоя мать была пятым и последним ребенком в семье Василия Петровича, твоего деда. Да-да, в семье Василия Петровича. Ибо он был ее главой и кормильцем, кормильцем единственным. На что хватало его зарплаты инженера-автомеханика, я не знаю, но твоей бабушке Дусе пришлось везти лишь неблагодарное домашнее хозяйство да следить за огромным количеством детей по нынешним да и тогдашним меркам. Слово отца-кормильца в этой семье было законом. Правильное — неправильное... сказал — надо выполнить. Иначе — ремень. (На производстве тогда еще покруче было. За опоздание свыше двадцати минут люди до пяти лет получали. Свои опоздания, Сергей, в школу, и на почту, где ты подрабатывал, можешь не вспоминать. Я не намеки делаю, а общую обстановку пытаюсь обрисовать.) С помощью ремня достигались и успехи детей в школе. Неплохие, как ты знаешь, успехи. Все твои дяди и тетя Нина учились хорошо. И не только школу закончили, но и вузы. А как дальше сложилась их судьба, ты и сам знаешь. Нынешняя их жизнь с ее перипетиями, отклонениями на твоих глазах протекает. И их отношения со своими детьми тоже. На твоих глазах строятся отношения разные, неоднозначные, хорошие или плохие — не мне судить. Сам разбирайся, анализируй: что, как, почему. Что взять от них, а что оставить, как говорится, за бортом истории.

Мать твоя училась хорошо. Ты не смотри, что она, в отличие от меня, простенькое квадратное уравнение решить не может и в дробях иногда путается — забыла за ненадобностью, как и многое из физики, из химии. Училась она хорошо, старательно, на четверки и пятерки. Свидетельствую как одноклассник и немножко завидовавший ей троечник. (Не круглый, так... Серединка на половинку).

Я, как ты знаешь, рос без отца. У нашей матери нас с братом было двое. Но с ней мы виделись мало. Она работала в Москве, работала над диссертацией, а мы жили за городом. Росли мы с бабушкой. Поднять ремень у нее сил не было. Да и не в почете он был в их семье. Моя мать боялась одного

отцовского взгляда. Во всяком случае, так рассказывала. Били меня редко. Когда пытались пустить ремень в дело, пока был маленький, я убежал из дома, а когда подросток — давал сдачи. Дико? Неприятно? Но из песни слова не выкинешь.

И если в доме Василия Петровича был порядок, если дети росли послушными, то за нас с братом даже тарелки мыла бабушка, а мы росли порядочными лодырями. Наставлять нас на путь истинный было некому и некогда, да мы и не очень-то слушались этих редких наставлений. Я, конечно же, знал, что воровать нехорошо, но это не мешало таскать яблоки из центральносоюзного сада: все ребята таскали, да и некоторые взрослые тоже. Случалось, мы и продавщицу обманывали, а не только она нас. Во дворе за нас заступаться было некому, разве что бабушка пошумит, защищая нас маленьких. Мы защищались сами, защищали понимаемую по-мальчишески справедливость. Когда я подросток, защищал не только брата, но и всех слабых мальчишек. Драки в те годы были делом обычным. Не так уж и много лет прошло после войны.

И вот встретились два человека из совершенно противоположных семей, с совершенно противоположными взглядами и на быт, и на отношения мужа и жены, и на отношения между взрослыми и детьми. Ты не подумай, что теперь, когда с той встречи прошло почти двадцать лет, тебя все это не касается и у тебя все будет иначе. Двух абсолютно одинаковых семей никогда не было и не будет. У каждой свой уклад, и каждый уносит из родительского дома свои, неповторимые взгляды на жизнь. Столкновение этих, то тут, то там несхожих взглядов подстерегает практически каждую новую семью. И тебе не избежать этого. Это все та же диалектика, все тот же источник развития из противоположностей. С каким знаком, плюс или минус, будет это развитие, к чему приведет — вопрос иной. Он решается каждый раз по-своему. Я просто к тому, чтобы ты не боялся этого противоречивого единства, чтобы не стало оно для тебя неожиданностью.

У нас это единство довольно долго (если не до сих пор) оказывалось временами почти на волоске. Уж больно сильны были противоположности почти во всем. Это еще хорошо, что в наши конфликты почти не вмешивались родственники. Наша удаленная от них комната и отсутствие телефона ограничивали возможности перерастания наших скандалов в войну.

Ту комнату ты должен хорошо помнить. Ведь когда мы переехали в нынешнюю квартиру, тебе уже исполнилось семь. И соседку Нину Терентьевну ты должен хорошо помнить. Она тебя любила и любит. А еще любит чистоту и порядок. И мать твоя любит. Представляешь, каково было мне, неряхе? Я сразу же попал под пресс двух женщин. Уж на кухне-то я за собой убирал обязательно. И тарелки стал мыть. И носки свои стирал сам. Тут, конечно, помогло еще и то, что до женитьбы я каждый отпуск проводил, работая в археологических экспедициях. Там и стирать, и мыть посуду приходилось, сваливать не на кого. И все же переход в новое состояние — состояние не мальчика, но мужа мне давался с трудом. Ссоры и скандалы были почти каждый месяц. Из-за тарелок тоже... Не развалилась наша семья только благодаря твоему скорому появлению на свет. Десять с половиной месяцев житья под одной крышей для многих, правда, срок достаточный, чтобы успеть разбежаться в разные стороны навсегда. Но спасло нас ожидание твоего появления, а еще... мой отец. Именно из-за того, что я полной чашей хлебнул состояние безотцовщины, зависти к другим ребятам, которых эта участь миновала, я не хотел этой участи для тебя, моего сына, моего продолжения на земле.

Не хотел, несмотря на то, что с твоим появлением мы практически лишились даже малой толики того свободного времени, которое у нас еще оставалось. Ведь мать и я не только работали, но и учились на вечернем отделении пединститута. Она тогда на третьем курсе, я — на пятом.

В нашей маленькой комнате бродили сквозняки. Ты часто, очень часто болел. И мне все больше и больше приходилось «впрягаться»: и стирать, и гладить, и полы мыть, и на молочную кухню с утра пораньше бегать. Тут я быстро стал перевоспитываться. От моей прежней лени, от лежания с книжкой на диване и следа не осталось. Ты, да-да, не улыбайся, невольно прививал мне трудолюбие, которое мне сейчас здорово помогает. Ну если не прививал, то во всяком случае развивал. Это точно. Я уже как-то рассказывал тебе и даже писал об этом, но нелишне будет напомнить, как твое появление на свет научило меня превращать нудную, однообразную работу в интересный для меня труд. Я про глаженье пеленок. Дело более монотонное трудно представить. Лежит ворох розовеньких, голубеньких, зелененьких, а ты берешь по одной и водишь, водишь утюгом туда-обратно, туда-обратно. Для меня делать что-нибудь однообразное — нож острый. Не помню уже как, но придумал ставить перед собой будильник (побыстрее, наверное, хотелось покончить с муторным делом) и стал гладить на время, соревнуясь с самим собой вчерашним.

Вот и ты недавно рассказывал, как на почте при раскладке газет ты каждое утро засекаешь время, соревнуясь с самим собой, и мама, подменяя тебя, тоже использовала этот прием. Ты научил когда-то меня, потом я и мать научили тебя. Но это так, к вопросу о взаимовоспитании, к надежде, что дети пойдут дальше отцов.

А кто научил меня делать встроенную мебель? Наша бедность, наша теснота и опять-таки ты да еще подсказка матери. Если бы не эти составляющие, из которых главной была забота о тебе, разве занялся бы я когда-нибудь этим сложным ремеслом, трудными поисками по всей Москве необходимых материалов?

А кто, как не ты, вытаскивал меня во двор на каток? Заставлял подменять дворника, чтобы этот каток во дворе появился? А теперь на стадион тащит меня Димка. Это вы заставляете меня не забывать футбол, хоккей, помогаете хоть как-то поддерживать спортивную форму, учите тому, чему так и не смогли научить в школе. Вот только курить вы меня не отучили... Слишком рано начал, с восьмого класса. К моменту твоего рождения у меня уже был восьмилетний стаж курильщика. В курении ты от меня отстал минимум на два с половиной года. И это не так уж плохо, как кажется матери. Да и в курении ты слабак. Это разве курильщик: две-три сигареты в день. Вот я в твои годы!.. А если внуки мои отстанут от тебя сегодняшнего в этом вредном деле тоже на два с половиной года? Мы же со стороны нашей семьи продвинем прогресс человечества в отказе от этого вредного дела на целую пятилетку! Нет, не так уж плохо. А если ты совсем бросишь курить... Я об этом и мечтать не смею.

Но не это главное, за что я вам с Димкой благодарен. Главное, что вы постепенно, исподволь научили меня следить за собой, за своим поведением, отказываться от вредных привычек и думать, думать, переосмысливать свои взгляды и поступки. Только не задирай нос: не вы одни, конечно. И не сразу. Был у меня большой зигзаг... Зигзаг, predetermined всем укладом окружающей жизни. Ее педагогическими установками.

«ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ»

Как-то читая А. С. Макаренко, я столкнулся с такой фразой: «Требования коллектива являются воспитывающими главным образом по отношению к тем, кто участвует в требовании». Интересный, диалектический поворот: воспитывается прежде всего воспитывающий. И в самом деле, требуя от других, мы требуем этого же, если жить по совести, и от себя. Но «требования коллектива» — это требования большинства. А если оно ошибается? Ведь истина не определяется большинством голосов, да и справедливость тоже... Всегда ли следует жить и действовать, руководствуясь мнением большинства?

Через два года после твоего рождения, отслужив год в армии, я стал учителем, и следовательно, как я потом иронизировал, «дважды воспитателем» или «отцом и учителем». У тебя тоже есть шанс стать «отцом и учителем». Но... Но в каждой шутке есть доля истины. Положение «отца и учителя» сильно испортило меня, заставило больше, чем нужно, верить в свою правоту, непогрешимость, как до этого верила, да и сейчас частенько верит мать. Чего скрывать, ученикам я нравился, их родителям тоже. Еще бы! Не так часто встретишь в школе мужчину в роли учителя истории, классного руководителя. Тут сразу же особое уважение. Да и работать я старался добросовестно, честно. Но добросовестно и честно в меру своего тогдашнего разумения.

К тому же надо хоть немножко представлять, какая складывалась обстановка в школе в середине 70-х годов. В стране было введено всеобщее обязательное среднее образование. Цель благородная, но в тогдашних условиях да еще с эпитетом «обязательная» цель практически нереальная. Это нововведение, как теперь понятно всем, не было обеспечено ни материальным состоянием школ, ни методиками, действительно позволяющими учить всех, ни уровнем педагогического сознания учителей, родителей. Да и вообще элементарной порядочностью большинства и руководителей народного образования, и инспекторов роно, и учителей, и...

Неправды, уверток, лжи, обмана, сделок с совестью, а одновременно и насилия друг над другом в школе прибавлялось с каждым годом. Не очень резко, не очень заметно, но прибавлялось. От директора школы требовали стопроцентную успеваемость и повышение процентов «качества знаний», то есть четверок и пятерок у всех по всем предметам. Директор требовал от нас, учителей, мы — от учеников, а некоторые из нас и от родителей. Как можно научить всех, мы не знали тогда. И лгали, лгали почти на каждом уроке, ставя тройки там, где следовало бы ставить двойки. Одна ложь порождала другую. Стараясь избежать несправедливости по отношению к тем, кто учился лучше этих «троечников», мы завывали отметки и другим ребятам. Но не всем. Надо же было подстегивать и нерадивых хорошистов... И мы окончательно запутывались сами и запутывали ребят, награждая очень многих универсальной тройкой или четверкой.

«Натягивать» отметки легче было потом, в учительской, накануне отчета в конце четверти. Взял классный журнал, «подрисовал» лишние тройки или четверки, вывел итоговую — порядок. А если не будет такого «порядка», жди выволочки от директора на педсовете. Я, дитя, выросшее на воле, выволочек не боялся. Пытался доказывать, что я прав и что двойки, поставленные мною, вполне обоснованны и справедливы, что с ложью в классных журналах надо бороться. За это мне снижали нагрузку, уменьшали зарплату. Но и это, ты знаешь, меня не останавливало. О необходимости убрать ложь из классных журналов я даже писал Л. И. Брежневу. Помнишь, как приемщица раздраженно спросила: «А индекс где?» — но, поняв, что адрес необычный, тут же извинилась. Помнишь, может, вместе ходили на почту отправлять заказное письмо?

Ответ пришел из Министерства просвещения СССР, советовали совершенствовать методику преподавания. Только как — не советовали. Потом я ее действительно совершенствовал и усовершенствовал, только не с их помощью и не с помощью инспектора или директора, а с помощью книжки учителя-новатора Виктора Федоровича Шаталова, которую случайно достала мать. Но это было потом...

А тогда... Тогда я только начал ощущать, что не совсем прав в своей правоте. Не прав не по отношению к директору, а к ребятам. В самом деле, чем был виноват передо мною и перед кем бы то ни было Шурик Белкин? Тем, что рос в семье малограмотного шофера, у которого десять человек детей? Тем, что учителя математики менялись в классе Шурика чуть ли не каждый год, а учителя истории не намного реже? Тем, что он прекрасно видел, как другие лоботрясы вполне успешно могли «перекантоваться» восемь лет в школе и получить вполне благополучные свидетельства, где знания по всем предметам оценивались как удовлетворительные, хотя владельцы этих свидетельств, как и Шурик, даже таблицу умножения не знали полностью? Да и зачем Шурику нужна была эта таблица, а уж тем более моя история, если он знал, что и без них заработает (и зарабатывает!) свои 300 рублей в месяц на любой стройке. Заработает ровно в два раза больше, чем я — учитель с высшим образованием, более или менее добросовестно проучившийся ровно в два раза больше, чем он, «перекантовавшийся»?

А чем был виноват Антон Пеструхин, оставленный на второй год за прогулы? Тем, что отец его развелся с матерью, а мать оказалась психически больной и, для того чтобы не терять сына, разрешала и ему и его друзьям делать все что угодно? Ну и что дал Пеструхину этот второй год, благодаря честно выставленным сразу всеми учителями двойкам и единицам? Ничего. В школу, правда, я уговорил его приходить. И он приходил. Приходил во все дни, кроме субботы. Тут у него был железный выходной. Но на этом все «педагогические» достижения кончались. Программу шестого класса он и при желании осилить уже не мог. Надо было начинать со второго-третьего. Но кто это позволит и кто этим займется? Хорошо, что равнявшихся на Пеструхина оказалось не так уж много в моем классе.

Двойки-то надо было ставить всем взрослым, старшим, но так у нас не принято...

Вот почему я сомневался и ставил тройки там, где одновременно и надо и не надо было их ставить. В свое оправдание могу сказать лишь одно, что делал я это не под напором директора, а под напором ребячьих судеб и проблем, которые в одиночку решить был не в силах. Потому и Белкиным, и Пеструхиным я, как и другие учителя, подписывал свидетельства и отправлял в большую жизнь...

Оправдывало нас и то, что наша школа была школой-новостройкой. Она только-только начиналась. В нее были переведены ребята из школы, работавшей в две смены. Отдали нам, естественно, не лучших учеников и воспитанников. Многие из них не то что учиться не умели или не хотели, но и пол в классе помыть не могли. Так что и уборка класса очень часто оказывалась на мне. Иначе — выволочка от директора. Его не интересовало, что дежурные ученики сбежали, его интересовало санитарное состояние школы. И я мыл. Куда же денешься? Не будешь же все время орать по телефону, вызывая «забывчивых» из дома, тем более что/ часто к телефону никто не подходил.

А еще надо было отвечать за всеобщее (у нас любят всеобщее, стопроцентное) горячее питание, которое очень часто оказывалось холодным. Девчонки отказывались есть застывшую кашу и сдавать деньги на завтраки. Приходилось агитировать, убеждать, заставлять. А иногда и выплачивать свои деньги за забывчивых...

А еще надо было обеспечивать всеобщий охват культурными мероприятиями. Будь то поход на массовый детский спектакль, на котором профессиональные актеры срывали голоса, или «поход» на концерт филармонии в школе, когда сильно перезревшие певицы, получившие отставку в опере, надрывали своими некогда, может, и хорошо поставленными голосами перепонки ребят века кино и телевизоров. Мы, классные руководители, чуть ли не насильно сгоняли ребят в актовыв зал. Во всяком случае без замечаний в дневниках мы не обходились. А если загоняли плохо — выволочка от директора: на вид, выговор в приказе и прочее...

Насилие творилось в самых разных формах. Иногда даже привлекательных, хитро придуманных и внешне вежливых. Как, скажем, годовые циклы лекций о вежливости или культуре поведения. Заручившись поддержкой роно и соблазняя ребят новыми художественными Фильмами, организаторы этих лекций собирали в одночасье под крышей одного кинотеатра около тысячи подростков одиннадцати — тринадцати лет. К началу лекции стоял невообразимый шум. То тут, то там срывались и летели шапки, вспыхивали стычки, драки между своими и чужаками из других школ. Голоса трех-четырех учительниц, срывавшихся на визг, тонули в этом несмолкающем гуле, как и голос случайного лектора, который неизвестно кому что-то вещал о том, как надо себя вести. Динамики его голос усиливали, но он все равно ни до кого не доходил. А себя лекторы не умели слушать. Себя они очень уважали и считали культурными людьми, вынужденными благородно все это перенести за пять или десять рублей...

Работники кинотеатра, не выдержав ими же организованного «нашествия варваров», через десять-пятнадцать минут пускали фильм и с облегчением помечали в плане мероприятий: выполнено! «Выполнено» — помечала и директор школы. И мы, классные, в своих планах воспитательной работы тоже. Вот так мы «воспитывали» культуру поведения, ежемесячно упражняя тысячу детей и себя в антикультуре и ублажая тех, кто стоял над нами.

Сейчас те годы принято называть застойными, а педагогику тех лет педагогией мероприятий, педагогией показухи. Но не стоит все списывать на эпоху, на годы. Они мало меняются, если мало что меняется внутри нас, в наших представлениях о добре и зле, о том, что такое хорошо и что такое плохо, что такое подлинное воспитание и мнимое, что такое долг, честь, честность. И если не буду меняться я, не будешь меняться ты, годы так и останутся застойными и перейдут к твоим внукам и правнукам, сколько

бы мы ни говорили с тобой о необходимости перестройки, в том числе и перестройке отношений между взрослыми и детьми.

И потому меня так взбесило вчера то, что ты стал орать на не в меру расшалившегося Димку, требуя, чтобы он моментально уgomонился. Ты забываешь, что ему всего десять, что понятие инерции не только к механике относится. Ведь это та же педагогика мероприятий или принятия мер: наорать, приструнить. И я... я стал орать на тебя... Я тоже выходец из той же школы, из той же педагогики. И даже если на меня, взрослого, не орали, то что такое выговор в приказе, угроза понизить зарплату? Все тот же окрик, как и двойка в журнале, как и замечание в дневнике. Только в отличие от тебя я уже понимаю, что окрик — это гадко. И главное, оказывается, можно жить, растить прекрасных детей и без него. Более того, только так и можно. Но инерция бытия заставляет скатываться до окрика на тебя, а потом спохватываться и извиняться.

Поверь, Сережа, я понимаю и другое, в твоих дурных привычках виноват я, твой отец, как в моих виновата моя мать и многие другие люди, окружавшие меня, жившие рядом. Отца моего не упрекнешь — он самоустранился. Но я не упрекаю никого. Сегодня, нынешний, я не упрекаю никого, кроме себя. Почему? Нет, не из-за благородного порыва души, не из-за того, что я такой великодушный. Нет, я просто понимаю, что цепь гадкого, тянущаяся из поколения в поколение, может быть прервана только мною самим и никем другим. Других лишь можно просить стараться не подавать дурных примеров. Все остальное бесполезно. Добро с кулаками — кулачное добро, несущее за собой кулачное право, страх, пустоту, тупик.

Только перестраивая себя, свое поведение, мы перестраиваем и окружающую жизнь.

«МЫ ДЕТИ ЗАСТОЯ, МЫ ДЕТИ ПРОТЕСТА»

Эту фразу я впервые услышал от тебя, когда рядом с длиннющими тогда твоими волосами мы с матерью увидели в ухе и серьгу. Мать, потрясенная, но явно переигрывая, свалилась на диван, изображая обморок. Ты же с вызовом бросил:

— А что вы хотите?! Мы дети застоя, мы дети протеста...

Потом уже менее поэтично добавил:

— Сейчас все так ходят... — Вот эта фраза меня обидела больше всего.

И в самом деле, длинные волосы, а затем серьга хоть и резали мой родительский глаз, но особенно не тревожили. Может, потому, что из одной диссертации по социологии я знал, что для 96 процентов подростков 15—16 лет на первом месте в жизни стоят одежда и прическа. А может, потому, что вдруг понял, почему так была удивлена и шокирована наша соседка Нина Терентьевна, когда впервые на моем лице увидела бороду. Для меня-то в бороде не было ничего удивительного, а ее она потрясла... Ну что же, если кто-то вправе носить бороду, почему же кто-то не вправе носить серьгу? Но при чем же тут протест?

Протест — вещь хорошая. И в педагогике тоже. Он один из видов обратной связи между воспитателем и воспитанником.

Впервые с «протестантами» твоего поколения я по-настоящему столкнулся в январе 1987 года, как раз в те дни, когда проходил Пленум ЦК КПСС, который станет историческим, если мы все приложим к тому усилия. В один из вечеров тех памятных дней мне довелось побывать на молодежном диспуте «Крутые ступени демократии». Организовал его и вел А. Радов, тогда политический обозреватель «Комсомольской правды».

Александр Георгиевич очень хотел, чтобы диспут прошел интересно, остро, чтобы борьба за демократию стала насущной задачей для каждого, кого он пригласил в огромный зал Дома культуры издательства газеты «Правда».

Собрались там представители самых разных течений современной молодежи. И хиппи, и панки, и металлисты, и люберы... Такого скопления экзотических одежд и причесок мне еще не доводилось видеть. Глаза разбегались от разнообразного однообразия. Ты со своей серьгой утонул бы в этом море...

Гвалт не стихал даже тогда, когда Александр Георгиевич пытался представить почетных гостей, поднявшихся на сцену. Среди них были и видный юрист, положивший немало сил для защиты демократических начал в нашем судопроизводстве, и экономист, стоявший у истоков хозрасчета и самофинансирования предприятий, и один из зачинателей нынешней перестройки кинематографии Григорий Чухрай, автор одного из первых антикультовских фильмов — «Чистое небо», за который ему потом крепко досталось. Был и Эдуард Сагалаев — главный редактор программ для молодежи Центрального телевидения, автор и ведущий, как ты знаешь, одной из самых острых публицистических передач последних лет — «12-й этаж».

Зал дал возможность выступить только одному Э. Сагалаеву. Эдуарда Михайловича спрашивали не о том, как он представляет себе демократию и борьбу за нее, а о том, почему не оказалось в программе телевидения той или иной ранее объявленной передачи.

Но Сагалаеву хоть дали выступить. После же слушать никого не хотели. Протестовали —

ведущего то и дело перебивали выкриками из зала: «Даешь девяносто девять процентов!». «Даешь девяносто девять или мы уйдем!» И действительно, поднимались, уходили. Ступени демократии оказались слишком крутыми. Дальше в тот вечер по ним подниматься не пришлось.

«Девяносто девять процентов», как это тебе известно, наверное, лучше, чем мне, — новая молодежная рок-группа. Тогда она только-только входила в моду. Эта группа должна была выступить в перерывах диспута, но твои друзья-металлисты требовали перерыва в диспуте. Перерыв затянулся до конца вечера...

Музыка грохотала в зале. И те, кто не выдерживал десятков децибел, со скрежетом вырывавшихся из динамиков, уходили в фойе. В числе невыдержавших оказался и я.

В фойе мое внимание привлек худенький молодой Человек постарше тебя лет на пять. На лацкане его пиджака была колодка от медали. Я полюбопытствовал, что означает столь странный значок.

— Это знак протеста, — сказал он, будто объяснил.

— Протеста против чего? — не унимался я, пытаюсь узнать смысл значка.

— Протеста против несправедливой оценки роли народа в минувшей войне...

— Как это «несправедливой»? Разве у нас плохо отмечают подвиг народа в Великой Отечественной? Кажется, совсем наоборот.

— Плохо. Выпустили вот эти медали в 65-м, к двадцатилетию Победы, а еще к тридцатилетию... Медалей-то много наштамповать можно, но разве этим окупить многомиллионные напрасные жертвы? Сколько людей погибло, покалечено, а о виновниках напрасных жертв молчат. А я протестую — сорвал медаль и ношу колодку от нее.

Он отошел от меня с независимым видом, объясняя смысл своего оригинального значка другим. Отошел обиженный. Но на что? Я ведь не обидеть хотел, а понять. И может, даже тебя с ним познакомить. Колодка эта — не серьга в ухе. За колодкой оказалось движение души, позиция, сострадание другим, борьба за справедливость, хотя и взятые напрокат, с чужих слов. А за серьгой что? Подражание слепое.

Ну да бог с ней, с модой. Подражай. Но пойми: мода на прическу, на атрибуты-побрякушки, на одежду — это одно. Тут рабство внешнее. Мода на жизненную позицию, на оправдание своего бездумия ссылкой на застой — совсем другое. Модой на убеждения мы обрекаем себя не на развитие, а на повторение, хорошее или плохое — вопрос другой. Бездумное повторение само по себе плохо. Оно обрекает на внутреннее рабство.

Впрочем, откуда взяться своим убеждениям, если в школе заставляют повторять то, что написано в учебниках, дома — то, что требуют папа с мамой? Не нравится ни то ни другое — хватаемся за третье. И повторяем. Опять-таки бездумно. Вот и я, кажется, что-то требую... Не требую, призываю понять: застой от того и возникает, что ни нас, ни вас мыслить, сопоставлять, иметь свои суждения почти не учили. Вот и приходит мода на убеждения. Это невольно продемонстрировал второй «протестант», на год, не более, старше тебя. Во время разговора он стоял рядом с нами.

— Вы, что же, против исторической правды, товарищ журналист? — прервал мои размышления этот длинноволосый парень.

— Почему вы так решили? Я просто хотел понять, против чего протестуют люди вашего поколения.

— Мы протестуем против лжи и обмана!

— Красиво сказано. Но хотелось бы знать против чего конкретно. И как?

— Ну, например, против того, чтобы перестали рыть Поклонную гору. А то почти совсем срыли...

— О, это действительно «новый» вид протеста — протеста против того, чего нет, чего не знаешь... Протестовали сразу, не читая... Откуда вы взяли, что срыли Поклонную гору? Вы там были?

— А вы?

— Был. Я рядом живу, каждый день мимо на автобусе ежжу.

— И видите, что работы там приостановлены.

— Приостановлена установка монумента, памятника. И только. Уверяю вас: срыть целый холм бульдозерами невозможно. Только подравняли немножко, чтобы ровный подъем к вершине был. За Поклонную гору многие, и вы, наверное, в их числе, принимают искусственную насыпь, которая возникла, когда Минское шоссе прокладывали. «Пупок» этот загоразживал дорогу к будущему музею, вид портит, вот его-то и срыли. И правильно сделали.

— Простите, вы москвич?

— Ответ опять будет неоднозначный. Москвич, но в детстве жил под Москвой.

— Это чувствуется... А вот я коренной москвич. И мне в родном городе все дорого. И то, что для вас какой-то «пупок» земли, для меня — святое место. Да это место должно быть свято для каждого русского человека. Ведь люди, подъезжая к Москве, останавливались на этой горе, любовались панорамой столицы, молились на ее купола...

— Я чувствую, что вы тоже готовы молиться, только видно не удосужились съездить на Поклонную гору, посмотреть. А то бы увидели, что сегодня по этой горе, точнее рядом с ней, машины мчатся со скоростью около ста километров в час. Никто не молится, не любит. И если бы

даже кто-то очень захотел полюбоваться — не сможет: огромные двенадцатиэтажные дома еще в начале шестидесятых всю панораму закрыли. Что же теперь? Ломать их, чтобы вы, любитель старины, борец за историческую память, любоваться могли? А где люди из сломанных вами домов жить будут? Вы об этом подумали? Вы эти дома построили? Объявлять все святым и молиться на это легко, подумать о живущих рядом гораздо труднее.

Я говорил страстно. Он ник под потоком моих вопросов, видимо, не находя своих, незаученных, не вычитанных ранее аргументов. Обещав подумать, он отошел в сторону, а я решил заглянуть в зал и встретился с третьим видом протеста. У сцены в едином порыве сгрудилось человек двести. Обнимаясь левыми руками и вскидывая вверх правые с задранными в виде козьих рожек пальцами, они повторяли вслед за своими кумирами на сцене:

Мы даем металл стране
— Сбор металлолома!

«Девяносто девять процентов» пользовались успехом на все сто двадцать. Возбужденные своей «металлической» песней протеста, в которой слышалась явная ирония над набившим оскомину «пионерским мероприятием», юные рокеры «заводили» толпу... И я решил попробовать понять этот протест, понять, куда «заведут» меня «протестанты». Выкидывая вверх козьи рожки, которые означают, как ты, наверное, знаешь, знак дьявола, я радостно завопил, трясаясь в такт музыке:

Мы да-ем ме-талл стране-е-е...
Сбор металлолома!

Потрясаясь минут пять, я понял, чем так притягателен тяжелый металлический рок: голова радостно кружилась, мыслей в ней не было никаких, ни добрых, ни злых. «Балдеж» да и все тут... И только заболевшая голова напомнила о возможном приступе гипертонии, и я остановился. Оглядевшись вокруг, увидел посматривающего на меня с улыбкой недавнего моего длинноволосого собеседника. Это был единственный знакомый. Теперь я подошел к нему.

— А что же вы не танцуете? Ну как это вы говорите, не балдеете?

— Спасибо, балдеть не люблю и не хочу. Да вы же сами призывали думать. А эти не думают. Стадо баранов. Появится впереди козел и поведет, куда захочет. И они пойдут, пойдут... А я не хочу, я — человек.

К чему я тебе все это рассказываю? Да к тому, чтобы ты, «дитя застоя и протеста», посмотрел на свои протесты со стороны, понял их мелочность и вздорность, несамостоятельность. Понял пустоту своей бравады, что нередко провоцируется, может, и ненарочно, недалекими людьми, которых, к сожалению, много и среди учителей, и среди милиционеров.

А может быть, понял и другое, когда уже тебе придется столкнуться со своими детьми-«протестантами»: быстрое реагирование на их протесты еще не означает, что оно эффективно и имеет какой-то педагогический смысл.

...В двенадцатом часу ночи, когда настала пора расходиться с того неудавшегося диспута, довелось увидеть четвертого «протестанта». Молодой милиционер схватил за грудки юного металлиста с заклепками и черепом на цепочке.

— Ты, ты знаешь, гад, что ты нацепил на себя? Черепа же фашисты носили! Снимай сейчас же...

Молодой милиционер явно наслаждался властью, когда этот желторотый металлист, растерянно поглядывавший на замолкнувших вдруг дружков, стал стаскивать трясущимися руками цепочку через длинную и узкую шею и точно такую же голову. Никто из них и не подумал возмутиться, протестовать, отстаивать свое право носить то, что им хочется...

А вот, выйдя из Дома культуры и пройдя метров сто, этот юный металлист снова достал и нацепил своего дьявола, озираясь по сторонам: нет ли рядом милиционера... Вот и вся борьба, вот и все протесты, вот и «фига в кармане», точнее на шее. А еще ощущение борьбы!

Да что там ощущение — действительно борьба. Борьба, но только за что? Извини, может, это я так с высоты своих лет богат задним умом. Но ты-то должен быть богаче меня и не повторять ошибок прошлого, когда боролись с моими узкими брюками дудочкой, а я протестовал против широких, вырезая клинья, перекраивая брюки... А до этого во всесоюзном масштабе велась борьба с широченными клешами, а после дудочек с длиной волос и юбок... И в этой всесоюзной борьбе люди все время упускали простой человеческий вопрос: ради чего борьба? На что кладем свои силы?

В этой истории с твоим заявлением о принадлежности к поколению детей застоя и протеста самое обидное, что это сказал ты. Ты — человек, который умеет протестовать. Вспомни, как в четвертом классе ты во дворе заступался за Димку, на которого напали трое мальчишек. Это был протест, протест против несправедливости.

А как ты протестовал со мной, когда у овощного магазина жгли деревянные ящики? А потом уже один, совершенно один, когда равнодушные одноклассники проходили мимо, ты, пятиклассник, кричал пионервожатой: «Светка, зачем же ты ящики жжешь! Ты же сама призываешь нас макулатуру собирать. А

из дерева знаешь сколько бумаги может получиться...» И вытаскивал ящики из костра. Вспомни, ты же сам об этом рассказывал.

Неужели твои протесты лишь результат подражания? Может, в этом виноват и я, потому что мало рассказывал тебе о том, как меняли меня мои протесты. Протест только тогда не мнимый, не самоутешающий, когда, требуя его от других, ты прежде всего требуешь этого и от себя. К этому можно лишь добавить, что только тогда ты и становишься взрослым. Ибо взрослость, по-моему, определяется не возрастом, не борьбой за самостоятельность, а способностью думать о других, заботиться о других, а не о том, чтобы стать таким, «как все».

Парадоксально, но это так, думать о других — значит становиться не таким, как все. Ибо дать что-то другим может лишь человек, чем-то отличающийся от них. Но не бородой, не серьгой в ухе...

Ты знаешь, я, конечно же, был рад, когда серьга оказалась заброшенной, а волосы подстриженными. Рад, что ты уже умеешь, пока немножко, преодолевать себя... Вот только под чьим влиянием? Матери? Учителей? Или собственных мыслей и желаний?

Мне было бы жаль, если бы ты совсем перестал быть «протестантом». Но протестовать-то прежде всего надо против застоя в себе самом, против застоя вокруг, порождаемого вялостью и убожеством мыслей, примитивностью и эгоизмом желаний. Я знаю, это дается нелегко, но дается.

Ты прости, что я так резко. Может, я чего-то действительно не понимаю в протесте вашего поколения... так ты объясни. Да ведь вы уже не вашего, а нашего... Не воспитуемые, а воспитатели. Совсем скоро... Немного осталось. Так что подумай, с протестом против чего придете вы к своим детям.

ПРОТИВ ЧЕГО ПРОТЕСТОВАЛ Я

Отрицание одного — это одновременно и утверждение другого. От чего мне, отцу и учителю, пришлось отказаться в первую очередь, ты знаешь. От насилия, от ременной педагогики, от тех выволочек, из-за которых мы жалеем чеховского Ваньку Жукова, жалеем себя маленьких и не жалеем даже собственных детей.

Да, это ты знаешь. Знаешь сегодня и другое, выволочка освобождает от мук совести, от необходимости терзаться сомнениями: «Правильно ли я поступил? Что же, что делать дальше? Как исправить?..» И не случайно ты и сегодня, совершив какую-нибудь глупость или гадость, просишь: «Ну, ударь меня, ударь!»

Не ударяю. Не потому, что мне доставляют удовольствие твои мучения. Не доставляют. Но без них исчезает, убивается человеческое в человеке. Может, и громко сказано, но это так. Ведь чем человек отличается от машины? Да в первую очередь тем, что свои решения он принимает сам. Машина же выполняет команды после получения соответствующих импульсов. Чем больше этих внешних, а не внутренних импульсов, тем больше в человеке машинного. Разве не так?

Не знаешь ты и другого. Чего мне стоило отказаться от ремня, от рукоприкладства. Ведь именно благодаря своей силе да двухлетним занятиям боксом (после серии драк с нашей дворовой шпаной) я и стал профессиональным педагогом. Серьезно.

В одиннадцатом классе (на нашем поколении много всяких реформ и контрреформ школы отработывали) меня, выпускника, вопреки традициям выбрали в комитет комсомола. Выбрали за одну яркую критическую речь в адрес прежнего комитета комсомола нашей прекрасной физико-математической школы № 2, знаменитой тогда, в 1965 году, не только в Москве, но и по всей стране. После этой речи как плотину прорвало. Собрание наше с десяти часов утра затянулось до глубокого вечера. Такое было возможно тогда, наверное, только в нашей школе, пропитанной духом демократизма конца 50-х годов. Разбушевавшуюся стихию наш мудрый директор Владимир Федорович Овчинников укрощать не стал, а решил направить в полезное русло: он предложил выбрать в новый состав комитета как раз тех, кто критиковал. Пусть делами покажут, как надо работать.

Стал я в комитете возглавлять оргсектор: собирал членские взносы. И через два месяца взвыл. Не от работы, она была нехлопотной. От однообразия, от бумаг. Направили меня советом дружины руководить. Пионеров в нашей особенной школе было немножко — всего четыре седьмых класса. И пионерской работы практически никакой не было.

Прихожу я на совет дружины. А меня никто не слушает. Посмеиваются, издеваются. Не выдержал я, говорю одному: «Пойдем, выйдем...» В четырнадцать лет, в возрасте рыцарском, сам понимаешь, от поединка отказаться невозможно, засмеют. Он и вышел. Но мне-то восемнадцать! Я его на полторы головы выше. Что делать? Бить этого мальчишку смешно, и не бить нельзя — сам же вызвал. Ребята решат, что я струсил: ведь совет дружины за нами подсматривал.

Все эти соображения как-то быстро промелькнули в моей голове. Взял я этого мальчишку одной левой за лацканы, приподнял на полметра над полом, сказал: «Мальчик, не шуми», сказал тихо, пионерковенно и поставил на место.

С тех пор весь совет дружины ходил за мной табунчиком, заглядывал в рот, слушал мои

изречения и моментально выполнял указания. Я стал для них старшим братом. Пионерская работа сдвинулась с мертвой точки, и все учителя решили, что у меня необыкновенные организаторские и педагогические способности. На выпускном вечере наша любимая учительница литературы Татьяна Львовна сказала мне: «Из тебя выйдет посредственный артист (я занимался в школьном литературно-театральном коллективе, в знаменитом ЛТК), хороший инженер или отличный учитель — выбирай». Я выбрал посредственного артиста. Но, провалившись два раза подряд на вступительных экзаменах в театральные училища, поступил на вечернее отделение исторического факультета пединститута. А когда не попал в аспирантуру по кафедре истории СССР, пошел в школу. Так я стал учителем благодаря неплохим бицепсам.

Прошло много лет, прежде чем я понял, что тогда с пионерами вполне удачно решил довольно сложную педагогическую задачу, интуитивно поняв, что ребятам надо было продемонстрировать благородную силу. Потом я узнал и другое, в социологии давно открыта закономерность, из которой вытекает следующее: чем ниже интеллектуальный и культурный уровень управляемых, тем жестче, повелительнее, автократичнее должен быть управляющий. Культ силы, культ бесконечных указаний и мелочной опеки вырастает из-за того, что он нужен не только управляющему, но и управляемым. Это одна из причин, по которой самым повелительным, самым приказным тоном разговаривают воспитательницы детских садов и учителя начальных классов.

Ну а отсюда полшага до ременной педагогики, если взрослый не понимает другой закономерности: чем выше культурный уровень управляемого, в частности и ребенка, тем более мягким, более демократичным должен быть стиль управляющего. От того как, в каком направлении меняется стиль воспитателя, зависят и его духовный контакт с воспитанниками, и их и его развитие. Ужесточение, опека, мелочная регламентация становятся тормозом развития и детей и взрослых, порождают все новые и новые конфликты, на преодоление которых уходят и физические, и духовные силы. Уходят напрасно.

Но это я теперь такой знающий, а тогда, в двадцать лет с небольшим, мы этого, как говорится, не проходили, и мой педагогический опыт говорил мне как раз о противоположном. Опыт тот же самый, только осмысленный не так.

Я вообще-то никогда не был поклонником ременной педагогики. Но куда от нее денешься? Она вокруг. И тебя она окружает. Взять хотя бы наших соседей... Да что там соседи! У них нет дипломов педагогических институтов. У нас же и дипломированные педагоги до сих пор, хотя телесные наказания отменены в школах России сто с лишним лет назад, «прописывают» ремень детям в качестве лекарства. Иногда намеками, в виде замечания в дневнике, а иногда и открыто, прямо, никого особо не стесняясь. Вот какое письмо я получил не так давно от одной матери из Саратова:

«У меня десятилетний сын. В школу пошел с шести лет. Хорошо читал, писал, считал. Старшая дочь тоже пошла с шести. С ней все нормально. Хорошо учится, хорошо ведет себя. А с сыном просто не знаю, что и делать. Учителя меня наперебой ругают, зачем отдала его на год раньше. Учится он теперь в четвертом классе, успевает нормально, но плохо ведет себя на уроках. Быстро устает и начинает отвлекаться, играть. Учителя и в общеобразовательной школе и в музыкальной не только советуют, но и требуют, чтобы мы наказывали своего сына ремнем.

Набрались мы с мужем храбрости и приступили. Я убежала на кухню и там закрылась, а муж после такого воспитания заболел, приступ гипертонии. Вроде «воспитание» дало результаты. Учителя перестали жаловаться, писать замечания. А мне страшно смотреть на сына. Самое сильное средство испытано. А дальше что?»

Обрати внимание, что битье по-прежнему считается педагогическим средством, да еще самым сильным. И хотя мать понимает вроде бы всю низость, подлость и глупость этого средства, устоять не может. Я еще, наверное, вернусь к ее заключительной фразе «А дальше что?», пока же пойми другое: и тебе, как отцу, потребуется мужество, чтобы не поддаваться на требования дипломированных педагогов, которые берут к себе в союзники, знаешь, кого? Антона Семеновича Макаренко! Он ведь тоже срывался с «педагогического каната». Более того, не формальное, а настоящее педагогическое существование знаменитой колонии имени Максима Горького началось вот с этого события, описанного в «Педагогической поэме» так:

«В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить дров для кухни. Услышал обычный задорно-веселый ответ:

— Иди сам наруби, много вас тут!

Это впервые ко мне обратились на «ты».

В состоянии гнева и обиды, доведенный до отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил в третий раз.

Я вдруг увидел, что он страшно испугался. Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял ее и снова надел. Я, вероятно, еще бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал:

— Простите, Антон Семенович...

Мой гнев был настолько дик и неумерен, что я чувствовал: скажи кто-нибудь слово против меня —

я брошусь на всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих кроватей, Бурун что-то спешил поправить в костюме.

Я обернулся к ним и постучал кочергой по спинке кровати:

— Или всем немедленно отправляться в лес, на работу, или убираться из колонии к чертовой матери!

И вышел из спальни.

Пройдя к сараю, в котором хранились наши инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес — не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили все, что им полагалось. Все равно. Я был готов на все, я решил, что даром свою жизнь не отдам. У меня в кармане был еще и револьвер.

...К моему удивлению, все прошло прекрасно. Я проработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята, в общем, хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали свое дело.

В перерыве мы смущенно закурили из моего запаса махорки, и, пуская дым к верхушкам сосен, Задоров вдруг разразился смехом:

— А здорово! Ха-ха-ха-ха!..

Приятно было видеть его смеющуюся румяную рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой:

— Что — здорово? Работа?

— Работа само собой. Нет, а вот как вы мне съездили!»

С этого момента Задоров и Макаренко стали друзьями. Но я привел этот эпизод (надеюсь, ты когда-нибудь прочитаешь «Педагогическую поэму», она о многом заставляет подумать) не в оправдание рукоприкладства, хотя оно иногда бывает искренним, естественным и, как оказывается, полезным. Жизнь диалектична, добро и зло оказываются часто перемешанными, а не разложенными по полочкам. Но сейчас я о другом. О том, как ребята, дети, сами иногда провоцируют применение силы и невольно помогают поддерживать это, в сущности, ложное убеждение, что, ремень, кулак — весьма эффективное педагогическое средство, что педагогика насилия единственно правильная.

«Сорваться с каната», как писал А. С. Макаренко, может каждый. Но вопрос не только в том, почему, но и в том, не превращаются ли эти срывы в систему. Систему, где подавление личности ребенка — основа, главная пружина воспитания. Подавление это может обходиться и без ремня, и без кулака, на шуточках, на издевках, под хохот ребячьего коллектива. Среди главных вопросов, которые должны задавать себе и взрослые и дети, один из первых: куда, к чему идем? Вопрос стратегии, цели воспитания.

Чтобы преодолеть такую вот невольную подпитку ребятами идеи правильности насилия, надо еще, как Макаренко, видеть перед собой все время идеал человека, проектировать личность, как говорил Антон Семенович. Всегда ли мы помним об этом? Всегда ли думаем, что невольно проектируем для своих детей и себя? В первые годы трудного существования нашей школы-новостройки у меня была одна стандартная шутка: «Воробьев, ты сейчас поймешь, почему люди не летают!» И если Воробьев продолжал болтать, вертеться, раздавать тычки и подзатыльники, я сгребал Воробьева и, раскачав, под хохот класса выкидывал за дверь. Выкидывал осторожно, чтобы приземлился на ноги. Я упивался своей добродушной силой, считал, что поступаю остроумно. А главное, так считали и ребята, и сам Воробьев. Поначалу он, правда, злился, огрызался, но потом на него эта процедура стала действовать отвлекающе. И он предпочитал умолкать, а не летать.

То же самое я проделывал в другом классе с Игорем Ковалевым. Он тоже дольше других одноклассников уяснял, почему люди не летают. Игоря ты хорошо знаешь. Он и теперь, спустя десять лет после окончания школы приходит к нам домой поздравить меня с днем рождения. И один, и с другими ребятами. И с ним, и с Сережкой Воробьевым мы остались в самых добрых отношениях. Почему? Потому что они поняли и простили меня. Поняли, что вытворял я это из лучших побуждений, ради остальных ребят, ради нормального течения уроков. Да, поняли. Поняли справедливость моих требований. В этом я не сомневался никогда. В этом меня убедило одно из заседаний педсовета в нашей школе. На нем директор мрачным, гробовым голосом объявила, что из роно пришли жалобы на учителей, которые на уроках позволяют себе применять меры физического воздействия на учащихся...

Сердце мое ойкнуло. На фоне моих отношений с директором я быстро представил себе разбирательство, представил, как все единодушно обсуждают, осуждают, клеймят мое поведение, а потом единогласно решают лишить меня учительского диплома и навсегда выгнать из школы.

А теперь представь, каково же было мое удивление, когда в проштрафившихся учителях оказались две опытные учительницы. Одна преподавала математику! другая — химию. Первая не так давно была награждена орденом, вторая — избрана депутатом райсовета и назначена районным методистом по химии. Их ставили в пример учителям не только нашей школы...

Что же такого они натворили? Учительница математики ударила какую-то ученицу тетрадкой по

затылку, чтобы та не повторяла ошибок. Учительница химии ударила в сердцах указкой по парте, отскочивший обломок оцарапал щеку кого-то из учеников. Все го-то!

С директором и та и другая были в прекрасны отношениях, и может быть, что-то было смягчено, Но все равно, как ты понимаешь, проступки этих учительниц бледнеют в сравнении с моими. Но на мен никто никогда из ребят не жаловался. Не то что в роно или директору, даже родителям! Прощали, все прощали. Видели: не для себя стараюсь, не для благополучного отчета — для них.

В нашей школе было тогда много молодых учителей, Работали мы с энтузиазмом по десять-двенадцать часов в сутки. Книг по педагогике почти не читали. Впрочем, не только по педагогике. Некогда было. Мы готовились к своим урокам и изобретали, изобретали.., «велосипеды», открывали давно открытое. Но нет худа без добра. Нет ничего более дорогого, прочна усвоенного, чем открытое тобой самим. Это был наш, может быть, невнятный, но протест против школьного застоя.

Сколько сил положил я, например, на наш школьный театр или на оборудование кабинета истории? Проектировал хитроумные встроенные шкафы дл карт, таблиц, диафильмов, пластинок (сказался опыт рожденный твоим появлением на свет!). Сам же потом с помощью ребят-добровольцев и родителей бросился осуществлять свой проект из гнилых древесностружечных плит, вывезенных тайком с одного завода, Иначе ничего не получалось...

Но среди родителей помощников было немного Помогали мне пятиклассники. Но они, даже стараясь изо всех сил, не могли завернуть до конца ни одного шурупа. Докручивал все сам, теряя уйму времени. Но не жалею об этом. Ведь я не только оборудовал кабинет, но и постигал простую и одновременно трудную истину: людей, в том числе взрослых и детей, сближает, возвышает общее дело. Среди прочего им стало и оборудование кабинета.

Вот почему тот же самый Игорь Ковалев, но уже в восьмом классе, видя, как я терпеливо жду тишину в начале урока, приосанившись, будет со своей первой парты урезонивать класс: «А ну, тихо! История начинается...»

Но это будет потом. А тогда, в двадцать семь, вершиной мудрости мне казалась поговорка, которую часто употребляли и учительница математики, и учительница химии: «Дружба дружбой, а служба службой». Я «держал дистанцию», как советовали в институте преподаватели, в школе опытные учителя, как дома поступали с тобой, боясь, что ты станешь избалованным, «сядешь на шею».

В преломлении к школе «служба службой» означало следующее: театр, походы, оборудование кабинета — это одно, а уроки — совсем другое. На уроках, голубчики, я буду спрашивать с вас знания, и не ждите от меня подачек в виде липовых троек! Меня действительно раздражало их безделье за партой, эпизодическая увлеченность какими-нибудь подробностями из жизни Людовиков и при этом нежелание открывать учебник дома. Я старался быть принципиальным, требовательным. Моим кредо стали, как, наверное, и у большинства учителей нашей школы, слова: «Проверка, контроль, заставлять...» Нас-то тоже контролировали и заставляли. Иного не было.

Из завета Макаренко — как можно больше требовательности к человеку, как можно больше уважения к нему — мы хорошо усвоили лишь первую половину...

Одним из моих «велосипедов» стали карточки, с помощью которых можно за пять минут опросить весь класс, за каждый урок поставить отметку каждому. Всеобщий контроль! На радость завуча у меня была самая высокая «накопляемость отметок» в журналах. Только Косте Ефимову, переставшему толком учиться еще в четвертом классе, от этой накопляемости легче не становилось. У него накапливались двойки. Он стал списывать у соседей, а я — ставить ему единицы за обман. И потерял в нем друга... Оставаясь учителем, учителем вроде бы честным и принципиальным, я перестал быть для него педагогом. Педагогом в изначальном смысле: человеком, ведущим за собой ребенка.

К чему я тебе, может и не будущему учителю, все это рассказываю? Да к тому, что и учительская и родительская педагогика покоится на общих основаниях. И в школе и дома нет и не может быть никакого воспитания, если нет дружбы, духовного контакта между взрослыми и детьми. Может, я и повторяюсь, но понять это очень важно. С позиций контакта и надо оценивать все наши педагогические приемы и поступки. У Макаренко в истории с Задоровым контакт не только не исчез, но, наоборот, появился, как и у меня в случае с Воробьевым или Ковалевым. Но одной дружбы, симпатии, контакта, называй как хочешь, мало. Вопрос — для чего они? Ответ вроде бы ясен. Все это нужно для того, чтобы Воробьевы, Ковалевы, Ефимовы становились лучше. Вот только становились ли они лучше, помогал ли я им расти или, наоборот, падал вместе с ними? Скорее второе.

И Воробьев, и Ковалев прощали меня, потому что тычки, затрещины, полеты не во сне, а наяву давно, с малых лет, стали нормой их домашней и дворовой жизни. И я не возвышал эту жизнь, а сам скатывался до ее уровня. А в случае с Ефимовым пытался сразу же, одним рывком вытянуть неподготовленного Костю к «вершинам» знаний. И опять-таки рвал контакт с ним... Я старался впустую, в значительной степени впустую, потому что пытался развивать ребят, не развиваясь вместе с ними. И я срывался, срывался в школе и дома, списывая все на усталость. И не замечал, что усталость-то эта от бесплодности усилий. Количество не переходило в качество, потому что я, как и многие, надеялся, что качество придет автоматически. Мешала еще и вера в свою непогрешимость, вера в то, что раз уж я отец

и учитель, то автоматически сею разумное, доброе, вечное. Тем более что я не щадил себя, не жалел для работы. И долго никто не мог разрушить этот стереотип в восприятии себя. Ни педсовет, раздавший по выговору двум учительницам-передовичкам, ни обижавшийся, но прощавший меня Воробьев, или не простивший Костя Ефимов. Чужая боль все-таки чужая. Понять ее можно — почувствовать нельзя.

Трудно почувствовать свою вину, свои ошибки, когда кругом так поступают все. Остановил, заставил меня оглянуться на содеянное опять-таки ты, Сергей. К сожалению, несколько лет спустя. Для этого оказался нужным твой не пустячный, а настоящий протест, мужественный голос невинного младенца, родного младенца, которого сотворил я. И физически, и духовно. Тут чужая боль стала своею. Твоя бесхитрость помогла разрушить один из самых трудных стереотипов — веру в свою непогрешимость, подпитываемую и трусостью, и великодушным прощением ребят.

Ты, может, и не вспомнишь этого случая за давностью лет. Тогда тебе не было и семи. Что случилось, уже не помню. Но ты закатил очередную истерику. Мать взвыла, просила меня, как обычно, срочно принять меры. И я выволок тебя из нашей старой квартиры на лестницу, прижал к стене, просил уговориться и бил, бил по щекам. А ты... Ты перестал плакать и стал смеяться. Ты смеялся мне в лицо. Смеялся вопреки моей воле и говорил: «Бей, бей!» И я понял, как ненавидит меня родной сын, первенец, наследник, мое продолжение.

Твой смех стал последней каплей. С тех пор я не распускал рук, сдерживался. Научился не сразу. Бывало и срывался еще раза два-три. И все же из моего педагогического арсенала навсегда ушли порки, затрещины, как стали постепенно уходить другие военные понятия: приказ, команда... На смену им приходили понятия из какой-то другой педагогики.

ЧТО Я ПРИОБРЕЛ

Приобретение нового, как и отказ от старого, не происходит мгновенно. Взрослому воспитателю воспитываться намного труднее, чем ребенку. Приходится перевоспитываться, отказываться от опробованного, проверенного, привычного, отказываться от собственных привилегий и преимуществ. Это сложная, но удивительно увлекательная, творческая работа. Работа со спорами до хрипоты, до поросычьего визга и с окружающими и с самим собой.

Работа эта, наверное, не начинается вдруг. Не знаю, изменил бы во мне что-нибудь тот твой давний смех на лестничной площадке, если бы не было за моими плечами не только школы, где я работал, но и других школ. И той замечательной физико-математической, и театральной — студии народного театра ЗИЛа, в которой я занимался до твоего рождения. И в той и в другой школе меня художественно научили наблюдать, сравнивать, думать, осмысливать, а еще стараться понять другого человека, почему он поступает так, а не иначе. Ну а когда я взялся за перо, сначала это были отрывочные дневниковые записи, потом статьи в газетах и журналах, где я анализировал и ваши с Димкой поступки, и моих учеников, и свои собственные, осмысление пошло быстрее. То, что написано пером, уже вне нас, уже не так смутно, уже сформулировано, а следовательно, легче поддается пониманию.

Не знаю, станешь ли ты вести свои дневники, в наше суетное время делать это нелегко, все некогда, ну хоть короткие записи делай. И поражайся, переживай, возмущайся. То, что сильно переживается, оседает в памяти надолго и без всяких дневников. Это в психологии давно известно. А еще помни, что тебя обижало в детстве.

Я переживал за тебя, как, впрочем, и мать. Но она переживала за тебя-будущего, я — за тебя-настоящего. Инициатором твоих наказаний чаще была она. И это не удивительно. Это была традиция ее семьи, и переживать, и исправлять положение так, таким образом. По той же семейной традиции роль экзекутора выпадала мне, мужчине. И я ее выполнял без удовольствия, со злостью на мать, на себя, на тебя, но выполнял. Но я оказался и ближе к твоим страданиям. Может, потому и взбунтовался против подобных традиций раньше, чем мать. И все же шоры этих традиций были на моих глазах долго.

Еще бы. Первое, что мы осознали с твоим появлением на свет, это то, что теперь с нас спрос за тебя, за твое поведение, воспитанность, здоровье. Мать очень, слишком пеклась о твоём здоровье. Ведь ей приходилось сидеть с тобой больным и приносить почти каждый месяц больничные на работу. А там, как известно, этого не любят. Для того чтобы ты болел как можно реже, тебе многое запрещалось. Оттого и наказывали. В этом мы поначалу не видели ничего страшного. Нас ведь тоже наказывали. И ничего. Даже наоборот: людьми выросли, хорошими людьми. (Плохими-то людьми себя никто не считает, особенно во взрослом состоянии. Это ведь страшно признаться, да еще не в начале жизни, что жил не так, что поступал не так.) Да и как же без порки?! В английских школах она до сих пор существует на законных основаниях. И ничего. Хорошие англичане получают. И английским почти все владеют...

Горькую шутку эту я вспомнил потому, что жизнь каждого отдельного человека, впрочем, как и вся человеческая история, уникальна. И никогда нельзя сказать точно, что было бы с человеком, если бы чего-то не было в его детстве, как, скажем, тех же наказаний, пребывания в углах, запретов, порок. Тут ни один эксперимент не подойдет, поскольку условия каждый раз уникальны. Ну разве что на однополых однояйцевых близнецах, похожих как две капли. Но кто же решится пороть одного и не пороть другого даже во имя человечества и педагогической науки? Потому-то и судит каждый по себе. И я судил по себе.

Но теперь я сужу по тебе и Димке. Димке, которого спас ты своим смехом на лестничной площадке.

Он хоть и родился на шесть с половиной лет позже тебя, но ведь вы очень похожи, похожи, как все те же капли воды. Для этого достаточно сравнить ваши фотографии, где вам по полгода, по три, по пять, по восемь лет. Если не смотреть на даты, путаемся не только мы с матерью, но и вы сами. А сколько лет Димку пускают в бассейн по твоей старой фотографии самые придирчивые вахтерши?! И при всем том, как вы не похожи внутренне. Конечно же, это не только из-за порки в раннем детстве, просто мы с матерью стали на шесть с половиной лет опытнее. Но ведь этого опыта не было бы без тебя, без Димки, без твоих и моих протестов.

Ходить, говорить, рисовать, читать ты начинал раньше, чем Димка. И только улыбаться стал позже, чем он... Наверное, потому, что мы реже улыбались тебе. В три с половиной года ты удивлял прохожих, когда, останавливая меня, читал магазинные вывески: «Мя-со», «О-во-щи». А потом это куда-то ушло, как вода в песок. Почему? Разве мы мало уделяли внимания тебе, одному-единственному? Разве мало любили? Нет, не меньше, чем Димку. Но любили, глядя на тебя не как на человека с равными правами, а как на скопище задатков, которые мы, профессиональные воспитатели, должны развить, чтобы сделать из тебя ребенка не хуже среднестатистического, а, может, даже и лучше. И часто, слишком часто сравнивали тебя с другими детьми.

Когда ты сам стал «тыкать в книжку пальчик», мы не только говорили, что ты «хороший мальчик», но и начали учить тебя. Точнее, заставляли складывать буквы (не звуки! — о-хо-хо...) в слова, читать. И ты разучился читать... разучился тому, чему научился сам! Почему? Да потому, что своей неумелостью, навязыванием своих желаний мы невольно подавили твои. И ты протестовал, не протестуя...

Но осознание никчемности родительского тщеславия и неумелости пришло не сразу.

В нашей домашней дошкольной педагогике все было для тебя, вот только, пожалуй, тебя самого мало было. Мы заставляли тебя делать все вовремя, то есть не так, как хотелось тебе, а так, как хотелось нам, как требовали того медицинские и педагогические инструкции. А еще ведь мы работали, и нас вынуждали обстоятельства. Мы спешили, собирая тебя в детский сад, и твое трехлетнее «Я сам» быстро глохло под напором «Нам некогда». Мы спешили и в этой спешке не замечали, как невольно, исподволь, изо дня в день подавляем твою свободу, твою самостоятельность, а следовательно, и твое развитие. Мы были переполнены благими намерениями, и, может, потому слово «нельзя» звучало в нашей семье чаще, чем следовало. Наверное, реакцией на эти многочисленные «нельзя» и стали твои катания по полу. И дома, и в гостях. Вот тогда-то, после гостевания, а то и в гостях тебе попадало особо — не позорь родителей, не подрывай престиж семьи.

С Димкой все было иначе. Он рос в иной атмосфере, символом которой стала не суровая мина, а улыбка. Недавно, помнишь, он вернулся с кремлевской елки, не съев ни одной конфетки из новогоднего подарка, принес, чтобы разделить на всех. Кто его научил? Никто. А тебя мы учили делиться, инструктировали, но ты редко делал это, как он — сам, по своей воле. И уж совершенно точно помню: мать много возилась с тем, чтобы тебя двух-трехлетнего научить говорить «спасибо». Напоминала каждый раз за завтраком, обедом и ужином. «Спасибо» и «пожалуйста» ты научился говорить, более того, с помощью «пожалуйста» ты научился и требовать. Ты и сейчас можешь гаркнуть на Димку, который не желает делиться с тобой мандарином: «В чем дело?! Я же сказал «пожалуйста»!» Слова твои правильны по форме, да вот нет в них душевной теплоты. Так возвращается к нам эхом через много лет наш инструктивно-педагогический подход к твоему воспитанию, наш семейный формализм, наша показуха, наше желание вырастить исключительно правильного ребенка.

Слышать это эхо, видеть в детях не объект воспитания, не потребителя родительских и учительских благодеяний, заглатывающих их как нелюбимую манную кашу с помощью уговоров, угроз или обещания конфет, помогли мне не только твой смех на лестничной клетке, но и другие мои юные наставники — первые ученики, которые стали друзьями. А еще один случай из жизни взрослых.

Когда заканчивался четвертый год твоей жизни, мы с тогдашним моим большим приятелем археологом Гогой Прошиным решили по старой памяти поехать в Брянскую область копать поселение первого тысячелетия нашей эры. На базе этой экспедиции организовали лагерь труда и отдыха.

Договор был взаимовыгодный. Гога получал землекопов, ребята из заработанных денег оплачивали стоимость своих тридцатирублевых путевок, а остальные деньги — около 200 рублей — мы перечисляли в фонд нашей школы-новостройки, где бы эти наличные, а не безналичные деньги могли очень пригодиться.

Я, конечно, плохо представлял, сколько сил и нервов мне это будет стоить. Пока Гога разъезжал по другим экспедициям, я потратил месяц отпуска, чтобы достать оборудование и продукты для лагеря. Тут я впервые узнал, что такое гарантийные письма, счета, чеки, где находится продбаза и спорткультурторг, как оформляются акты на списание и много другой бюрократической чепухи. В этой экспедиции я впервые узнал, как бьется сердце со скоростью 230 ударов в минуту, когда ночью лежал рядом с тобой, спящим, и прислушивался к каждому шороху хозпалатки, что стояла рядом с нашей. Боялся: рядом с лагерем — табор цыган, и они вполне могли «увести» всю нашу тушенку, оставив голодными восемнадцать парней и девчат.

Было множество и другой нервозности. Рассказываю о ней лишь для того, чтобы ты понял, как расплатились за нее со мной взрослые и ребята.

Ребята были разные. В основном трудяги, весельчаки. Но был и иной весельчак — Андрюша Федоркин. Парень неглупый, остроумный, умевший поиздеваться над кем угодно, но сам беспробудный лодырь и троечник. Такая же безотцовщина, как и я когда-то Может, поэтому и был он мне симпатичен. И жалея его мать, я рискнул взять Андрюшку с собой в ЛТО.

С ним хлебнули неприятностей все. Я уже не помню всех его проделок. Помню, что довел он своим бездельем и зубоскальством и нашего начальника экспедиции Гогу. И мы в середине смены решили отправить Федоркина назад в Москву. Моя помощница, молодая учительница географии, сдала этот неудачный объект воспитания под расписку маме.

Когда отправляли Федоркина, Гога выписал ему причитавшееся жалование из расчета 87 копеек в день. И, как говорится, гуд бай, мальчик. Производственная педагогика проста. Она, кстати, сильно подействовала на Федоркина. Через три дня он вернулся из Москвы. Сам добрался на двух поездах и попутке, просил простить и в дальнейшем работал неплохо.

Федоркин невольно открыл мне глаза на обман, который замыслил Гога. В конце смены тот объявил расчет «по новой». Фокус простой. Ребята расписываются в ведомости из расчета теперь уже по 58 копеек, потом ведомость уничтожается, а при возвращении в бухгалтерию института подается новая ведомость из расчета 87 копеек (с ребячьими подписями, которые ничего не стоит подделать), а Гога получает те двести рублей, что должны были пойти в фонд школы.

Весь этот фокус был обставлен разговорами о смете, о необходимости экономить фонды. Но я прекрасно знал Гогины фонды, поскольку сам получил в бухгалтерии института и привез Гоге по доверенности полторы тысячи, из которых на долю ребят теперь выпадало не 700, а 500 рублей.

Такого поворота от старого доброго приятеля я не ожидал. Мы долго спорили, считали и пересчитывали деньги. Когда оказывались «лишние», по ошибочным расчетам, Гога предлагал мне оставить их себе. Потом Гогу поддержали приехавшие к нему взрослые друзья-приятели. Я оказался в одиночестве. Что делать? Надо мной тогда довлели установки «педагогика»: дети не должны видеть, как ссорятся взрослые, не надо впутывать детей во взрослые проблемы, надо оберегать авторитет каждого взрослого, старший всегда прав, к детям надо выходить с единой позицией, едиными требованиями и т. д.

Установок этих много. Они живучи. Да разве мы с матерью, когда дружно заставляли тебя читать буквы, не руководствовались теми же установками о единстве фронта взрослых?

Но надо было что-то делать. Не мог же я вернуться в школу обманщиком. А Гога уже стал сманивать моих девятиклассников: обещал привезти бочонок пива после того, как они распишутся в ведомости. Каков купчишка оказался! А? Гога знал психологию подростка, знал, на что бьет. Пиво в шестнадцать лет — не просто пиво. Это символ взрослости, самостоятельности. Против такого соблазна да еще со своими впервые заработанными рублями устоять трудно. А ребята были не ангелы...

И тут я не выдержал. Я рассказал им все. И про расчет с Федоркиным, и про деньги, и про смету, и про то, что в фонд школы ничего не попадет. Возмущенные парни готовы были к рукопашной. Но я попросил их чтить уголовный кодекс, и они остановились. Но у меня теперь была их моральная поддержка... Это был, пожалуй, мой первый шаг от педагогики указаний к педагогике сотрудничества... Гоге пришлось расплатиться по договору.

Второй шаг «помог» сделать первый директор нашей школы Василий Михайлович. Когда 700 рублей в конце концов были перечислены на счет школы (после нашего похода в бухгалтерию археологического института), требовалась виза директора, чтобы вернуть ребятам по 30 рублей. Но сколько я ни подходил Василию Михайловичу, слышал приблизительно одно! и то же: «Знаешь, я сейчас в отпуск ухожу. Давай через два месяца...» Через два месяца: «Знаешь, меня на курсы повышения квалификации посылают... Давай в январе». В январе: «Некогда, некогда! Давай завтра...» И еще раз завтра...

А ребята-то подходят, спрашивают. Стыдно было кормить их, как кормили меня, «завтраками», но кормил. Знаешь, в каждом из нас сидит эта боязнь испортить отношения с начальством, тем более когда работаешь недавно. Да и деньги-то Василий Михайлович не для себя «прижимал», для школы с голыми стенами, в которой «живые», наличные 500 рублей никогда бы не помешали... Ребята из школы уходят — десятиклассники уже, — пусть это останется их подарком школе...

А я и так уже с этим лагерем друга потерял да еще хлебнул такого, что на всю жизнь запомнилось... Но именно ребята помогли мне и на этот раз стать мужественным и сильным. Уже в марте, когда Василий Михайлович отправил меня в очередной раз с очередным «завтраком», перед самым звонком на урок подошли ребята, стали спрашивать о деньгах. Я раздраженно бросил:

— Идите к директору!

— А он нас только что к вам послал!

— Как ко мне?! Да я только что с ним разговаривал... Пошли...

Вежливо стучу в дверь директорского кабинета, заглядываю, спрашиваю:

- Можно, Василий Михайлович?
- А, Валерий Евгеньевич, заходи...
- Заходите, ребята, — предложил я.

Василий Михайлович вскакивает и начинает судорожно махать руками: «Некогда, некогда!» Но «завтраки» кончились. На следующий день деньги ребята получили.

Вот так они учили меня видеть в учениках, в детях не только учеников, но и равных мне людей, друзей помощников. Может быть, со своими особыми ребячьими интересами, но с такими же чувствами и переживаниями, с точно такими же правами не на бумаге, в повседневной жизни. А еще с особым, обостренным чувством честности и справедливости. Им в тяжелую пору поделились со мной выпускники 1976 года. А значит, и с тобой тоже, и с Димкой. Давай скажем им спасибо.

Но, к счастью и к сожалению, не только им. Преодоление старого и понимание нового, иного приходило ко мне медленно и постепенно, через анализ десятков мелких эпизодов и эпизодиков. Их было много, слишком много, прежде чем я научился видеть за обыденностью, повседневностью их глубинный смысл. «Самое страшное — это инерция стиля», — сказал поэт.

...Был пятый час вечера. Уроки давно кончились. Я готовился к завтрашним. Приготовился. Но подумал, что неплохо бы в шестом классе на уроке о великих географических открытиях использовать глобус. Пошел в кабинет географии. Он оказался уже закрытым. Рядом слышались голоса. Заглянул. Дохнуло тяжелым спертым воздухом. За партами сидело человек сорок.

— Добрый вечер, Анна Николаевна, — удивленно протянул я, — что это у вас происходит?

— Да вот, дополнительные проводим. Ничего не учим сами, без няньки. А по математике ведь экзамены...

Анна Николаевна ответила, как всегда, мягко, но с подтекстом. Один подтекст был для ребят, другой — для меня. Работает Анна Николаевна, а я по школе гуляю.

Возвращаясь в свой кабинет, я чувствовал, как нарастают во мне обида и зависть. Почему с моей историей никто так не сидит? Почему никто не приходит ко мне на дополнительные занятия? Может, потому, что я молодой учитель и авторитета никакого?

На следующий день первый урок в 9 «Б» начал по вековой традиции с проверки домашнего задания. Романов стоял и молчал. Да и что от него ожидать?! Вызвал Лену Морозову — молчит. Поднимаю Наташу Алексееву — старосту и вечную палочку-выручалочку: «Я не выучила...» Тут уж меня прорвало: «Значит, математику учите, а историю побоку?! Это потому, что я вам двоек не ставлю? Садись, Алексеева, два! Антонников! Молчание. Два!»

Это уже походило на заговор, на бунт. И я пошел по списку. Двойки выстраивались в плотную колонку. Что мне потом делать с ними, я не знал, но справедливость и любовь к истории, как мне казалось, требовали... И я ставил. Журнальные клетки пропускал изредка, лишь когда кто-то лепетал о плохом самочувствии или о поездке к бабушке на другой конец города. Только дойдя до конца списка, я остановился. И, заканчивая «экзекуцию», сделал воспитательный вывод о том, что заниматься надо по всем предметам. Но слова мои падали на мрачную каменистую почву. Между нами пролегла отчужденность. И когда начал объяснение нового материала, почва осталась той же самой... Было тихо, но меня не слышали.

9 «А» входил на урок притихшим: все уже знали, какая гроза пронеслась над 9 «Б». Я попытался продолжить линию объективности и справедливости и в этом классе, да напряженные, настороженные, просящие и ненавидящие глаза остановили меня. В них были и испуг, и стыд, и обида, и жалость. Жалость ко мне. И я начал урок с объяснения нового материала, предварив его всего лишь одной фразой: «Знание истории никогда не мешало математике...»

Это был совсем другой урок, если судить по вопросам ребят после него или по ответам на следующий день. Мысленно я говорил им «спасибо». Но «спасибо» надо было сказать 9 «Б». Это он своим молчаливым сопротивлением что-то перевернул в моем педагогическом сознании... Но что?

Понимание, что надо идти на уступки ребятам? Что нельзя одновременно учить разных людей по единой общей программе? Что ценность не в знаниях самих по себе, а в том, что они объединяют людей, делают единомышленниками, и жизнь от этого становится радостнее? Неужели не права опытейшая Анна Николаевна, когда с завидной волей и требовательностью, не щадя себя, до приступа диабета вела дополнительные занятия, борясь с бездельниками и лодырями?

Уже тогда, а тем более сейчас, по прошествии многих лет, на этот вопрос я отвечаю однозначно — не права. Да, Анна Николаевна милый, трудолюбивый человек, но не права. Не туда направляла она и свои, и ребячьи, и мои усилия. Она забыла, что в сутках всего лишь двадцать четыре часа, да и не все учебные... Не прав был и я, нарушая одну из самых важных педагогических закономерностей, понятых позже: учитель, воспитатель должен знать, и не столько знать, сколько узнавать и учитывать актуальные потребности ученика, ребенка. Мы забыли о том, что было прекрасно известно за сто лет до нас...

Как-то в биографии В. И. Ленина я обнаружил такой факт. Когда маленький Володя Ульянов, живя в деревне Кокушкино, решил сократить путь на улицу и стал лазить в окно, родители не бранили его, а

Илья Николаевич приделал рядом с окном... ступеньки. И это-то вместо традиционных наших запретов, наставлений!

«Не руби сплеча!» — гласит народная заповедь. Для учителя, отца, воспитателя она еще короче: «Не руби!» Не руби, а сохрани ниточки, связывающие тебя с ребятами, тяни новые, завязывай новые узелки на память. Тут, наверное, уместно вспомнить и другую психологическую и педагогическую закономерность: словам уважаемого человека верят, даже если они не очень-то доказательны, и наоборот, какие бы мудрые истины ни произносил нелюбимый человек, результат будет обратный. Но дети уважают лишь тех, кто уважает их... Уважает не на словах, в поступках.

И еще, пожалуй, надо помнить... Как-то у К. Д. Ушинского прочитал, что опыт педагога не определяется ни количеством лет, ни количеством фактов, пережитых им, «если эти факты остаются только фактами, то они не дают опытности. Они должны произвести впечатление на ум воспитателя, классифицироваться в нем по своим характеристическим особенностям, обобщиться, сделаться мыслью, и уже эта мысль, а не самый факт, делается правилом воспитательной деятельности». Но, думается, возможен и обратный ход: от мыслей к фактам. (От мыслей чужих и своих, но обязательно ставших твоими.) Так тоже приобретается опыт. Да-да, так тоже.

Ты, к сожалению, мало пока читаешь. Но настоящего педагога, воспитателя трудно представить без чтения, без книг.

ЛЮБИТЕ КНИГУ . . .

«Любите книгу — источник знаний». Сей призыв можно прочесть в витрине любого книжного магазина, при входе в любую библиотеку. Призыв этот настолько привычен, что на него уже почти не обращаешь внимания.

Но книга не только источник знания — она нечто большее. И не только книга — любая газетная статья. Как-то наш сосед по старой квартире, человек простой и незатейливый, когда я отказался распить с ним «пару пива», поскольку надо было вернуть журнал, взятый на два дня, бросил мне: «И чего ты все читаешь, читаешь?! Что толку от этих статей — сегодня прочел, завтра забыл». И ты знаешь, он не далек от истины. Много, очень много быстро забывается, но как раз поэтому и надо читать каждый день, как надо каждый день умываться и чистить зубы. Потому что кроме гигиены тела должна быть еще и гигиена души.

Чтение заставляет задуматься, оглянуться на окружающих, на себя, подумать: «А так ли мы живем?» Нередко эта мысль бывает мимолетна, ее забывают сотни других повседневных дел, часто дел не лучших, но именно поэтому-то и надо «умываться». Прочел — «умылся».

Особо чистая «вода» встречается в книгах. Не во всех, конечно. Там бывает и много другой «воды». Но есть, есть книги, в которых квинтэссенция того, что выстрадано лучшими человеческими умами и сердцами. И причащение к ним делает тебя другим: чище, возвышеннее. Пусть ненадолго. Но делает.

Януш Корчак. Избранные педагогические сочинения. Открываю наугад. Страница девятнадцатая: «Право ребенка быть тем, что он есть.

— Что из него будет, кем вырастет? — спрашиваем мы себя с беспокойством. Хотим, чтобы дети были лучше нас. Грезится нам совершенный человек будущего.

Надо бдительно ловить себя на лжи, клеймя одетый в красивые слова эгоизм. Будто самоотречение, а по-существу — грубое мошенничество.

Мы объяснились с собой и примирились, простили себя и освободили от обязанности исправляться. Плохо нас воспитали. Но поздно! Пороки и недостатки уже укоренились. Не позволяем критиковать нас детям и не контролируем себя сами.

Отпустили себе грехи и отказались от борьбы с собой, взвалив эту тяжесть на детей.

Воспитатель поспешно осваивает особые права взрослых: смотреть не за собой, а за детьми, регистрировать не свои, а детские вины.

А вина ребенка — это все, что метит в наш покой, в самолюбие и удобство; восстанавливает против себя и сердит, бьет по привычкам, поглощает время и мысли. Мы не признаем упущений без злой воли.

Ребенок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может — все это его вина...

...Невыполнение оскорбительного и невыполнимого требования — вина. И наше поспешное злое подозрение — тоже его вина. Вина ребенка — наши страхи и подозрения и даже его старание исправиться.

«Вот видишь, когда ты хочешь, ты можешь».

Мы всегда найдем, в чем упрекнуть, и алчно требуем все больше и больше.

Уступаем ли мы тактично, избегаем ли ненужных трений, облегчаем ли совместную жизнь? Не мы ли сами упрямы, привередливы, задиристы и капризны?»

Неужели, прочтя эти обжигающие правдой строки, тебе не захочется стать лучше? Ну хотя бы на один День... Мне тогда, в 1979-м, захотелось. И может, потому не повторялась «гроза в 9 «Б», и меня остановил твой смех на лестничной площадке. Недаром же говорят: мы видим в жизни то, что знаем...

Но, повторяюсь, прости, у книги в нашем раздерганном, разорванном мире, где каждый спешит, где каждый занят своим делом, есть и другое предназначение — она объединяет наши души, как и хороший фильм, и хорошая телепередача, что смотрим вместе. Общий наш смех, общие слезы, общие чувства и мысли, рожденные ими, — это те ниточки, что все больше и больше связывают нас, делают наши души родственными.

Нам, к сожалению, не так уж часто удавалось что-то почитать вместе. Ведь со мной-то в детстве книг почти не читали. Во всяком случае, в том сложном подростковом возрасте... Ты же преподнес мне в этом еще один урок, урок важный и серьезный, который, надеюсь, останется уроком и для тебя, когда ты будешь отцом. Помнишь, когда ты закончил шестой класс, я готовился к командировке на Всесоюзный слет тимуровцев. Чтобы получше познакомиться с Гайдаром, я перечитал не только его сочинения и письма, но и книжку, что принесла мама, — «Сумка Гайдара» Б. Н. Камова. Читал сначала один, а потом с тобой вместе в сарае на даче. Помнишь, как мы вместе плакали над последними страницами этой книжки, где Гайдар шагнул в сторону пулеметчика, укрывшегося в засаде, чтобы отвлечь внимание, чтобы спасти товарищей по партизанскому отряду...

На слет в Черкассы, как это ни было хлопотно и обременительно в смысле денежном, я все же решился взять тебя с собой. Ведь там, в Черкасской области, было то место, где погиб теперь уже наш Гайдар. Ты очень хотел побывать на том месте, и не взять тебя было невозможно...

И я очень хорошо помню, как ты потратил единственный свой рубль, скопленный, наверное, за целый учебный год, не на мороженое — на цветы... Я-то уже забыл и про сарай, и про книжку, и про общие слезы — мне надобно было побыстрее собрать материал для очерка, — и появление цветов в тот день в твоих руках оказалось для меня непонятным. Потом, когда ты взглянул на меня обиженно и зло, сообразил: в тот день участников слета должны были везти на место гибели Гайдара, на то самое место, о котором мы читали в книжке Бориса Николаевича.

С большими приключениями, но добрались... И мы снова плакали, и слезала какая-то короста с души.

Вот что могут сделать несколько страниц из книжки. Но из книжки человека, который десяток лет жизни посвятил тому, чтобы восстановить доброе имя Гайдара, считавшегося не только исчезнувшим при неизвестных обстоятельствах на оккупированной территории, но и даже сотрудничавшим с фашистами...

Хорошие книги, Сережа, помогают нам сохранять нравственные ориентиры. Да ты, наверное, это уже понимаешь не хуже меня. А если и не понимаешь, то по крайней мере чувствуешь. Во всяком случае, твой поступок в Черкассах позволяет надеяться на это.

Среди моря книг, действительно помогающих воспитывать и воспитываться, есть и особые. Иногда они вызывают скуку, потому что посвящены вроде бы скучной теме — методам и приемам воспитания. Они в самом деле иногда бывают скучными. Но однажды я получил письмо, заставившее меня поверить в силу и такой литературы. В качестве отклика на одну из первых моих статей в «Известиях» М. С. Пик из Куйбышева писала:

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным — даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек знаком с ним теоретически и практически» — так говорил К. Д. Ушинский сто с лишним лет назад, сто с лишним лет назад он объяснил причины косности и невежества многих родителей в вопросах воспитания. Еще причина, конечно, в том, что воспитателю самому надо все время меняться, а это так трудно, так не хочется...

По себе знаю, как трудно, если не дано многое от природы, не впитано через семейные традиции. Я уже пожилой человек, вырастила, не без трудностей, сына, а научилась кое-чему только тогда, когда родился внук. Но научилась. Научилась с помощью педагогической литературы.

Нередко приходится встречаться с утверждением, что в педагогике готовых рецептов нет. Конечно, своеобразны и каждая семья, и каждый ребенок. Однако есть, и очень много, общих бесценных правил, рекомендаций, советов, которые можно найти в книгах. Но они, к сожалению, до сих пор остаются тайной за семью печатями для большинства настоящих и будущих родителей. Например: «Нельзя сравнивать одного ребенка с другим» (И. Песталоцци). А у нас это делают постоянно и дома, и в детских садах, и в школах. «Сосредоточимся на достоинствах, и они сами вытеснят недостатки» (В. Сухомлинский, С. Соловейчик). Мы же упорно боремся с недостатками. «Не поощрять и наказывать, а радоваться и огорчаться поступкам ребенка» (Л. и Б. Никитины). А мы изоощряемся в поощрениях и еще больше в наказаниях.

Я выискивала эти простые истины в книгах, журналах, в газетных статьях по вопросам семейного

воспитания, собирала их в памятки для бесед, которые проводила с родителями в детских садах. Памятки всегда вызывали интерес и многим помогли. Помню, после одной из бесед ко мне подошла женщина. Рассказала, что у нее поздний ребенок, один-единственный, а взрослых в доме пять человек, и они часто спорили между собой по поводу воспитания. «Ваши беседы и памятки, — говорила она, — очень помогли нам. Теперь дела у нас пошли гораздо лучше».

А вот что написала женщина из Душанбе в ответ на письмо, в котором я ей выслала несколько памяток:

«Спасибо. В первую очередь за то, что прибавилось уверенности: ошибки, что я допускала раньше, можно исправить. Не слушается Толик, отказывается прерывать игру и идти на тренировку — я теперь не нервничаю, а спокойно отвлекаю его. Не доказываю, что пропускать тренировки нельзя, а стараюсь изменить его настроение, а изменив, незаметно добиваюсь своего. Когда знаешь, как преодолевается непослушание, то спокойнее воспринимаешь все то, что раньше приводило в отчаяние».

Обрати внимание на коротенькое словечко «как» — оно многого стоит. В нем умение воспитателя, в нем смысл методической литературы. Но зная как, надо одновременно не забывать для чего. Иначе умение манипулировать ребенком может превращаться в страшное оружие.

Так что, Сереженька, начинать-то надо все-таки, наверное, с Корчака, Макаренко, Сухо мл и нского. И не просто читать, а думать, переживать, переосмысливать. Читать не как инструкции, которые следует выполнять от «а» до «я», а читать творчески, размягчая прежде всего свою душу, читать с «впечатлением на ум», примеривая на себя...

Да и не стоит, наверное, строго делить литературу на педагогическую и непедагогическую. Среди так называемой педагогической литературы макулатуры не меньше, а может быть, и больше, чем среди художественной. Поверь, Достоевский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Абрамов, Айтматов, Быков — педагогические писатели гораздо больше, чем многие доктора наук и академики. Педагогическая макулатура определяется довольно легко: сухой, казенный язык, прикрывающий лозунгами отсутствие чувств и мыслей, а главное — в ней нет детей, их чувств и желаний, сил и возможностей, есть многочисленные установки о том, как должно быть. Там, где присутствует не сомневающаяся ни в чем, и прежде всего в себе, педагогика предписаний, там нет педагогики, там указания, администрирование.

Так что постарайся запомнить еще одно «указание» К. Д. Ушинского, что выписала М. С. Пик в свою памятку: «Трудно найти какую-нибудь книгу, в которой бы не было психологического факта». И еще: «Всякий человек, умеющий заглядывать внутрь самого себя, есть уже готовый курс психологии».

Ты не смотри, что речь о психологии, а не о педагогике. Они друг от друга не делимы: педагогика строится, соотносясь с психологией, но в свою очередь способствует порождению новой психологии. Тут тоже своя диалектика.

А еще, прости за назидательность, заглядывай, учишься заглядывать во «внутрь» детей. Там много интересного, есть чему поучиться. И чем больше детей, тем больше «наука»...

«Наука» эта не раз выручала меня в трудную минуту. С ее помощью выручали даже «чужие» ребята. (Пишу в кавычках потому, что чужих ребят быть не должно. Если есть чужие для тебя дети, то появляются из них и чужие тебе взрослые, которые портят твою же собственную жизнь.)

Я помню, как мне пришлось заменять учительницу русского языка, которая ушла в декрет в марте. Ко мне обратилась директор: «Выручай. Ну кого я найду в марте месяце?» И я не смог отказать.

Но как войти в новые, совершенно незнакомые классы мне, неспециалисту, который еще со школьной скамьи не совсем, мягко говоря, ладил с орфографией и пунктуацией? Тут я стал понимать, что свой учительский авторитет в глазах ребят, на который я работал восемь лет и который давно работал на меня в прежних классах, нельзя положить, как конспект урока, в портфель и привезти к новым ученикам. Тем более если ты не специалист.

Но если я не был специалистом в преподавании русского языка, то уже имел педагогический стаж и твердо знал, что путь к успеху лежит через контакт с классом, с ребятами. Надо заинтересовать ребят собой, влюбить в себя, а потом они влюбятся и в наше общее дело. Сформулировать-то легко. Но как решить эту задачу на практике?

Я помнил историю, рассказанную одним знакомым пожилым педагогом, о том, как входил он в незнакомый класс. Этот якобы образцовый девятый класс, в котором учились мои сверстники, встретил его невообразимым шумом, гвалтом и... игрой на трубе. А он вместо того, чтобы идти жаловаться на ребят директору, как, видимо, того ожидали испытывавшие его девятиклассники, выбрав момент секундного затишья, заметил трубачу: «В этом месте надо играть не до, а до-диз». И класс примолк и пошел за своим наставником.

Все это, конечно, замечательно, но как быть мне? Ведь меня-то встретят не девятиклассники начала шестидесятых годов, а пятиклассники эпохи цветных телевизоров, которых трудно чем-либо удивить. И трубачей, наверное, среди них не будет. Да и сам-то я до от ми не отличаю, не то что дизель. ...Может, начать первый урок строго, по-деловому? Сразу показать, что русским языком я владею не хуже,

чем моя предшественница, не так давно покинувшая вузовскую скамью? Да и все инспектора-методисты учили и учат беречь драгоценное время урока, не отвлекаться на пустяки и ребят приучать, принуждать к тому же...

Но за годы работы в школе, за годы общения с тобой я твердо уяснил: тишина на уроке и запись в журнале о том, что урок пройден, еще не означают, что он оставил след в умах и сердцах ребят. И я пожертвовал первыми уроками, хотя у моей предшественницы лимит отпущенных программой часов был исчерпан. Я начал с чтения пьесы, не предусмотренной ни одной программой. Это были сатирические сказки, сочиненные вместе с моими театрами учениками старших классов. Сказки веселые, остроумные, в которых узнавались не только ученики, учителя, но и типичные трудности, которыми так богата школьная жизнь. А читал я особо старательно и выразительно. Смех не смолкал. Звонка с урока слушать никто не хотел. Пятиклассники просили продолжать дальше. Я обещал, что буду, если от уроков русского языка будет оставаться время...

На последующих уроках я уже мог честно признаться, что русский язык знаю больше теоретически. И если кто-то увидит мою ошибку, пусть не пугается, не стесняется, а скажет мне, я буду ему очень благодарен... Такое заявление вызвало еще больший интерес ребят ко мне. И не только ко мне, но и к правилам грамматики, к тому, что писал я на доске, в тетрадях. Ошибался, правда, я редко, ответственность чувствовал, но когда ошибки все же случались, это был большой праздник. Для одних (еще бы, поправить учителя!) и дополнительный урок для других. Урок внимания, урок правописания, повторения пройденного без повторения... Так что ошибаться иногда и полезно. И для других, и для себя... И от добровольных помощников и помощниц проверять тетради после меня отбоя не было: тоже лестно заметить то, что не заметил взрослый.

Из всего этого складывалась моя тактика, позволившая легко и быстро достичь стратегической цели — увлечь ребят делом, которое поначалу ни им, ни мне не представлялось интересным, стоящим. Это были мои новые «пеленки с будильником». В этом был мой педагогический такт, обеспечивший сразу же контакт с пятиклассниками.

Эта история, замешанная на книжном знании, на житейском и профессиональном опыте, на случайностях, позволила мне сделать для себя одно, можете быть, и маленькое, но важное открытие. Педагогический такт не только в том, чтобы не кричать на детей, не оскорблять, не унижать достоинства, не лезть непрошеным гостем в чужую душу, не поучать, когда не просят, но и в том, чтобы не подавлять ребят даже своими знаниями, эрудицией. А что такое подавление возможно, помогли мне понять не только мои новые пятиклассники, но и мои театралы по старой школе. В игре на сцене мне, отдавшему самодеятельному театру и школьным урокам десяток лет жизни, не было практически равных среди них. Я был актером на много голов выше. И довольно часто после моих вдохновенных показов, как можно играть ту или иную роль, кое-кто из ребят «скисал», и надолго. А кое-кто вообще уходил из нашего театра, поняв, что так играть не сможет. С урока-то не уйдешь... Может, поэтому у талантливых родителей не так уж часто, как того хотелось бы, вырастают талантливые дети? Может, в результате именно такого подавления у знающих, эрудированных родителей, которые стремятся как можно больше уделить! внимания ребенку, вырастают дети, малоспособные к творчеству?

Говорить об этом тогда да и сейчас не так уж просто, как тебе думается. Ведь во всех учебниках педагогики подчеркивается да и без них известно: учитель должен знать гораздо больше, чем его ученики. По образному выражению народной учительницы СССР Нины Николаевны Белоштентовой, из учителя должна изливаться живительная влага знаний, которой он наполняет себя всю жизнь! И это действительно так. И с этим трудно не согласиться. Вопрос в том, каково количество этой «влага»? Если ее слишком много, то в ней можно и утопить... Правда, из-за не очень-то глубокого знания русского языка мне это не грозило.

Успех ко мне и к моим новым ученикам пришел и по другим причинам. Благодаря работам выдающегося психолога П. Я. Гальперина, я знал такое, чему не учили да и сейчас, наверное, все еще не учат на факультетах русского языка и литературы в педагогических вузах. Я знал то, что не знала моя предшественница: «Голову и руку, сознание и моторику движений надо учить, тренировать одновременно!» Ах, если бы меня учили так, то, может, и не писала бы иногда моя рука «малако», поскольку неуставшая голова твердо знает, что писать надо «молоко». Но не вошло это в меня с молоком в школе, поскольку мы сначала «проходили» правила, потом делали «на них» упражнения. Правила забывались, поскольку новые упражнения были на новые правила, а за старые правила мы получали двойки и делали работу над ошибками... Вот только чьими?

На моих уроках пятиклассники занимались иначе, как я занимаюсь дома с тобой, с Димкой: прежде чем написать слово, произнеси его четко, а товарищ по книжке проверит — правильно ли ты представляешь, что надо написать. И зубрить правил отдельно от дела, от работы не надо. Их надо использовать все время, опорный конспект должен быть всегда перед глазами. Предотвратить неудачу — значит обеспечить успех, сделать учение работой радостной, победной. Впрочем, об этом сейчас хорошо известно, благодаря учителям-новаторам, и в частности благодаря Софье Николаевне Лысенковой. Но тогда-то, шесть лет назад, мне это было неведомо. Нет, я не расстраиваюсь, наоборот, Радуюсь —

значит, есть в педагогике, в методике какие-то закономерности, которые приятно открывать, хотя бы для самого себя. Ведь с их помощью не легкая педагогическая работа превращается в радостный труд.

Можешь поверить, а можешь и проверить (есть семь десятков учеников, сотни тетрадей): после двух месяцев моей работы ребята стали делать ошибок в два раза меньше, чем за четыре года работы моих предшественников, специалистов-предметников. Оказывается, не только экономика может быть экономной, но и педагогика...

Благодаря этой трагикомической истории, связанной с моим вынужденным преподаванием русского языка, сформулировал я для себя правило, которое звучит несколько парадоксально: закон неравного равенства. Смысл его, думается, уже понятен. Взрослый во многом должен быть равен ребенку: точно так же, как и ребенок, он должен играть, учиться, ошибаться, радоваться успехам, но при всем том быть чуть-чуть в стороне, выше, должен знать и уметь чуть больше. Нарушение этого «закона» в сторону полного равенства приводит к тому, что взрослый, учитель перестает быть учителем, исчезает уважение, а нарушение в сторону неравенства — будь оно даже в огромной эрудиции или в абсолютной вере в своей непогрешимости — приводит к потере контакта с детьми. А без! него все остальные педагогические ухищрения оказываются бесполезны.

Вот какую непростую простоту помогают открывать книги и дети, дети и книги, а точнее, умные, добрые взрослые и дети, которые с самого начала должны быть тебе нечужие.

НЕ ПО ВТОРОМУ КРУГУ, А НА НОВОМ ВИТКЕ

Ныне я очень жалею, что у меня только два сына. Почему жалею? Да потому, что, как оказалось, когда вас двое, жизнь становится совсем другой... Димка заставил любить тебя больше, умнее...

Димку мы ждали с большим трепетом, чем тебя. Нет, не с большим — с иным. Нас уже не так пугали бессонные ночи, молочная кухня, пеленки-распашонки. Был уже опыт, была ссорка. Да и ты оказался нам хорошим помощником. Мы боялись другого, что вы вырастаете с Димкой чужими людьми, как это случилось у меня с моим братом. Ваша разница в возрасте оказывалась еще большей, чем у нас, на полтора года. Да еще до Димкиного появления на свет моя мама рассказала, как я, пятилетний, однажды из ревности чуть не придушил моего грудного братишку. Подобное часто бывает во многих семьях. Причина простая: любили все одного-единственного, и вдруг все стали любить другого. По взрослым меркам вроде бы правильно: младший — маленький, слабенький. Но каково старшему? Он-то тоже еще маленький. Да не замечают...

Чтобы этого не повторилось в нашей семье, я старался как можно больше уделять внимания тебе, пока мать была занята грудным Димкой. Мы оба старались быть с тобой нежнее, ласковее. Если ты впадал в очередной рев, я уже не хватался за ремень, а старался отвлечь тебя, успокоить шуткой, уступкой. И хотя до школы оставалось меньше года, мы не усаживали тебя за букварь, перестали сравнивать с другими детьми (правда, сравнивали наши знакомые, говорили, что ты стал гораздо лучше), не заставляли ложиться спать строго по часам... И мне и тебе нравилось играть «в слова», «в рифмы», решать придуманные на ходу задачи. На прогулке, во время купания, в автобусе. И ты с удовольствием решал. Помнишь такую: у автобуса два колеса спереди, четыре сзади. Сколько всего? А вон, видишь, еще одно, запасное? Сколько же всего? А сколько букв в слове «колесо»? А на какую букву оно кончается? А можешь написать «О» вот здесь, на стекле автобуса? А рифму к слову «колесо» придумать?

Еще раньше, под Новый год появилось письмо от таинственного, загадочного мальчика Риды, живущего где-то среди книжек. (Его придумала мама. Рид, как ты теперь, наверное, понимаешь, по-английски означает «читать»). У вас с Ридой завязалась переписка — и проблема обучения чтению без принуждения была решена.

А помнишь еще одну смешную задачу? Шел верблюд по пустыне, наступил на камень, где грелись три ящерицы, и двум из них прищемил хвосты. Сколько ящериц осталось на камне? Помнишь, как же мы все вместе дружно смеялись, когда ты узнал, что ни одной: все ящерицы убежали, а хвосты у них вырастут новые.

Подлинное воспитание и обучение невозможно без человеческой, умной и доброй методики. Методики, не только вкладывающей ту или иную сумму знаний, навыков, но и прививающей нравственные основы, развивающей ум и чувства, точнее, чувства и ум. Чему мы тебя учили? Разве только письму и счету? А наблюдательности? А неожиданности ситуаций? А единству мира, взаимосвязи? А радости жизни, коллективизму, стремлению быть добрее?

И разве ты не учил нас тому же? Не будил нашу фантазию? Разве мы не превращались постепенно в твоих помощников, соавторов, друзей? И Димкиных тоже... Может, он потому-то и начал улыбаться раньше, чем ты в его возрасте?

Его раннее детство, благодаря тебе и моим ученикам, мы не испортили страхами, нажимом, насилием. И он отблагодарил нас всех и добротой, и жадной творчеством, и гораздо более развитыми способностями.

С грудным Димкой я возился меньше, чем с тобой. (Ты уже рос нашим помощником.) Мне приходилось лишь укладывать его спать. В отличие от тебя, грудного, я не боялся приучить его к рукам и вопреки дурным педагогическим инструкциям часто брал его на руки, и, прихлопывая в такт по попе, напевал сочиняемую на ходу колыбельную: «Баю, баю, баиньки, спи, мой Димка, маленький, глазки закрывай, тихо засыпай...» Сочинял по инерции, ведь днем я обязательно что-то сочинял вместе с тобой.

И сегодня, когда меня начинают уверять, что Димка за какой-то год выучился играть на кларнете и пианино, сочинять все новые и новые мелодии и пьески, потому что его дедушка неплохой музыкант, поющий в профессиональном хоре, я-то знаю, что это не совсем так. Дедушка-то у вас один, и ты тоже учился музыке, да вот не похлопывал я тебя по попе, не напевал песенки. И проигрыватель, как двух-трехлетний Димка, ты не слушал часами, самостоятельно его включая, меняя пластинки. Проигрыватель и пластинки были нам тогда дороже, и нам казалось, что легче запретить, чем научить пользоваться проигрывателем.

Да и не очень-то мы учили Димку. Мы ему помогали учиться. Да-да, тебя в раннем детстве мы учили, как надо жить, а Димка учился. Всего-то ничего: разница вроде бы в частичке «ся». Но разница огромная.

Ты до сих пор помнишь ту историю с театром на Красной Пресне. Мать очень хотела приобщить тебя к искусству, и ты прошел все туры. Но на первое занятие студии тебя, первоклассника, повез я. Занятие затягивалось. Я устал ждать в коридоре и пошел в соседний скверик. Когда же ты вернулся и не нашел меня, ты испугался, побежал на остановку, сел на троллейбус и уехал к тете Нине, а я искал тебя с помощью милиции... Когда же ты сам благополучно приехал, мы, перепуганные, стали бранить тебя... Но что изменилось после этого? На репетиции ты больше не ездил.

Похожая история повторилась с шестилетним Димкой, когда я повел его впервые в бассейн. Мы опаздывали. Я довел его до проходной, и он исчез в раздевалке. Я же остался терпеливо ждать (в скверик уже не пошел). Жду час. Все дети вышли — Димки нет. Жду еще полчаса. Наконец появляется. Весь зареванный. И сквозь всхлипы говорит, что так и не плавал, просидел в раздевалке, не знал, как в бассейн пройти... Меня, конечно же, взбесило, что два с лишним часа потрачены впустую.

Хотел отругать его, как следует, но вместо этого расстроился вместе с ним и выдохнул:

— Ну что же, делай выводы!

— Какие выводы?

— Как будешь действовать в следующий раз, когда опоздаешь и останешься один в раздевалке.

— Наверное, надо вернуться и сказать тебе.

— А если меня не будет?

В общем, мы сделали выводы. И с тех пор, когда что-то случается, Димка вздыхает и говорит, что надо делать выводы. А я улыбаюсь, смеюсь. Ну разве можно бранить такого человека?

Впрочем, выводы его научил делать не только тот случай, а вся наша ночная жизнь. Когда я уходил из школы, то надеялся, что буду видеться с вами чаще, а получается все наоборот. И потому-то мне так дороги те немногие минуты перед вашим сном. Ты, правда, к моему возвращению все чаще и чаще спишь. Я понимаю: тебе к шести утра на почту. А с Димкой мы по-прежнему болтаем. Он без этой болтовни уснуть не может (и я тоже...). Болтовня эта, правда, совсем другая. Она выросла вместе с нами. Это теперь не сказки про курочку Рябу или Колобок и даже не про забавных космонавтов Тобикова и Бобикова, которые никак не могли долететь до Луны, потому что, как не подлетят к ней, вес консервов оказывается в шесть раз меньше, чем на Земле, и они боятся, что им не хватит продуктов... И стихи мы больше не сочиняем. А великолепная книжка у нас с Димкой получилась. Может, помнишь эту уникальную книгу, выпущенную тиражом в 1 экземпляр? Первое буриме мы, кажется, сочиняли втроем, с тобою вместе. Помнишь?

Шел теленок по паркету
И увидел там конфету.
Осторожно взял губами
И отнес в подарок маме.

Или это:

На стене висит портрет.
— Как вы думаете, сколько ему лет?
— Я думаю... лет двести!
— А почему?
— У него не все зубы на месте!

А последнее стихотворение мы посвятили тебе. Замечательное стихотворение получилось. А ля Агния Барто. Мы его в троллейбусе сочинили:

Этой шапке двадцать лет
В ней ходил еще Сережка.
Половины меха нет,

И тепло немножко.
К шапке надо надевать
Теплое пальтишко!
Мне устал напоминать
Старший мой братишка.
Только это все не то —
Шапку я люблю больше, чем пальто.

Сейчас наши ночные разговоры больше носят естественнонаучный, исторический и философский характер. Правда, повесть о динозаврах или приключения птеродактиленка Димка, кажется, писать уже бросил. И про движение материков и литосферных плит мы больше не говорим. Его, четвероклассника, занимают проблемы культа личности, откуда берутся богатые и бедные, почему одни могут властвовать над другими. И я с трепетом жду его неизменное: «Какой бы, батянь, тебе еще вопросик задать?..»

Но самый главный, как я понимаю, «вопросик», который мы задаем друг другу, это — «Как поживаешь?» Вроде бы простой, но на самом-то деле, если отвечать на него честно, а мы только так и можем отвечать друг другу, это «вопросик» совести, вопрос исповеди, осмысления жизни... Вот тут уж мы слушаем, сочувствуем, воспитываем друг друга, как говорится, на все сто. И делаем, делаем выводы...

ПОРА РАЗОБРАТЬСЯ В ПОНЯТИЯХ

Кажется, я уже говорил, что люди очень часто произносят одни и те же слова, но не понимают друг друга, потому что в эти одинаковые слова они вкладывают разный смысл, который зависит от их понимания, их опыта. Вот я и боюсь, что слово «воспитание» ты воспринимаешь не совсем так, как мне бы хотелось. Между тем это ключевое слово в нашем разговоре, понятие, имеющее основополагающее значение, или категоричное, как говорят философы. К пониманию этого слова человек идет всю жизнь. Вроде бы понимаешь, и все же не до конца. А, казалось бы, чего проще: открой учебник педагогики — прочти.

Вот я открываю и читаю: «Воспитание — в самом общем виде — заключается в подготовке младшего поколения к жизни в обществе. В процессе воспитания подрастающие поколения должны усвоить то, что уже накоплено обществом, то есть усвоить знания на достигнутом уровне их развития, овладеть определенными, трудовыми умениями, усвоить нормы и опыт поведения в обществе и выработать определенную систему взглядов на жизнь. В процессе воспитания должны формироваться также и такие качества, которые необходимы для решения новых задач, не стоявших перед старшими поколениями. А для этого должны быть выработаны умения приобретать необходимые знания, приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни и труда, заниматься творческой деятельностью. Таким образом, можно сказать, что (далее вывод курсивом) воспитание — это процесс передачи старшими поколениями общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к жизни и труду, необходимому для обеспечения дальнейшего развития общества».

Поначалу кажется, что все правильно. Вот только общая тональность этого развернутого определения какая-то нечеловеческая — механическая. И непонятно, откуда творчество возьмется, для чего оно, если все известно. Воспитание здесь лишено страхов и сомнения, поисков и ошибок, мучительного процесса их познания, признания, исправления, новых поисков и новых ошибок.

И зачем думать над тем, кто воспитывает воспитателя? У тебя, старшего, все есть, а молодым остается лишь внимать, перенимать. Но откуда же тогда ждать перемен? И чего жаловаться на молодежь, что не такая растет? Ведь опыт, какой он есть, такой и передается, как из одного сосуда в другой переливается... Вот только никак не хотят понять авторы подобных определений, что при переливаниях возможны лишь потери, но никак не приобретения, что если бы воспитание действительно строилось по таким определениям, то, кроме деградации общества, ничего бы не происходило.

К счастью, это не так. Но, к сожалению, часто и так. Разве мы с матерью не на таких же основах строили и твое и свое воспитание в начале твоей жизни? А многие из моих коллег-учителей разве не из подобных же основ исходили?

В этом определении нет и тени сомнения в том, что многое из того, что накоплено, может и должно быть отвергнуто. И качества должны формироваться для решения задач, а вот о том, что прежде чем решать, надо научиться ставить задачи, видеть их в своей повседневной жизни, — ни слова. В этом определении нет человека, преобразующего мир и себя, есть лишь покорные исполнители чьих-то высоких замыслов. Все происходит как-то помимо нашей человеческой воли. И условия жизни и труд меняются как-то сами по себе, будто бы не мы, люди, их меняем.

А посмотри на вывод. «Новые поколения» — это какие-то потребители, которым благородные старшие поколения бескорыстно передают свой опыт. Впрочем, не бескорыстно, а для дальнейшего развития общества. Но разве может развиваться общество, если не будем развиваться мы? И ты, и я? И «новые поколения», и «старшие»?

Ты, наверное, удивишься: чего это я так раздражаюсь, что так витийствую по поводу каких-то там

двух абзацев в вузовском учебнике «Педагогика». Ну, кто из нормальных людей живет по учебникам? Действует по определениям, заключенным в них? Правильно, никто. И дело же, конечно, не в этом. А в том, что в учебниках отражается состояние педагогических взглядов не только большинства ученых, но и большинства членов общества.

Потому как и что мы себе представляем, так мы и действуем. И развиваемся в направлении представлений. Если они ошибочные, развитие идет со знаком минус. Теория от практики неотделима, как и практика от теории.

Не так давно ты читал редакционную статью «Комсомольской правды», называлась она «Под маской». Там давалась отповедь члену-корреспонденту АПН СССР Б. Т. Лихачеву. Борис Тимофеевич — один из инициаторов травли в 60-х годах другого члена-корреспондента этой академии — выдающегося советского педагога Василия Александровича Сухомлинского, всю жизнь проработавшего директором сельской школы на Украине, в Павлыше. Ты удивлялся: чего это вдруг газета надумала ворошить старое, события двадцатилетней давности; защищать человека с мировым именем от мало кому известного Лихачева? Стоит ли? Да и что такого особенного написал Сухомлинский тогда, в 1967 году? Какое имеет отношение к нашей сегодняшней жизни полемика двух теоретиков?

Самое прямое. И к моей, и к твоей... Но сначала давай перечитаем. Сухомлинский: «Любое подчинение современного гражданина социалистического общества воле руководителя требует внутреннего одобрения этой воли, глубокой веры в правоту руководителя... Попытки руководить школьным коллективом (и вообще строить жизнь коллектива) приказом, требованием беспрекословного подчинения, организационной зависимостью не только обречены на провал, но и представляют собой опасный источник лицемерия и двоедушия».

Б. Т. Лихачев: «Хочет того автор или нет, но объективно он не только теоретически оправдывает недисциплинированность и разгильдяйство в общественной жизни, а и выступает против устоявшихся основ методики коммунистического воспитания... Представьте себе такой простой пример. Личность пьянствует и прогуливает. Директор предприятия, где работает личность, требует подчинения законам и порядку. Но личность этих требований, этой воли «внутренне не одобряет». Выходит, что подобная личность имеет моральное право на разгильдяйство, а руководитель от каждой капризничавшей личности должен добиваться «внутреннего одобрения» ею своей воли. Думается, что под маской борьбы с остатками культа личности грубо протаскиваются идеи мещанского индивидуализма».

Вот так. Кто же прав? Чье воспитание лучше? Сухомлинского или Лихачева? Можешь ответить сразу? Нет? Наверняка нет. Ведь ты почти каждый день видишь подобные споры, но не замечаешь, что они о том же самом.

Мать уговаривает Димку сделать хоть два глотка чая после каши. А когда он не поддается на уговоры, требует все настойчивее. И я не выдерживаю, взрываюсь: «Хватит, ты же видишь — он не хочет». И она обижается, никакой поддержки! А Димка и радостный и смущенный выбегает из-за стола, спешит в школу, где с него опять-таки будут требовать, требовать... Требовать открыть учебник и прочитать параграф, когда не хочется, когда он скучный, требовать не бегать на переменах, требовать дневник для выставления оценок. Да мало ли что еще требуют в школах, считая, что воспитывают, что передают «социально-исторический» опыт. Может, и передают, но только что? Нет, не опыт воспитания, опыт надзора, надзора за правопорядком.

Недавно в почтовом ящике я обнаружил памятку с такими советами: «— не оставляйте ключи от квартир в условленных местах, не доверяйте их малолетним детям;— укрепите дверные косяки и двери, устанавливайте надежные замки».

Хорошие советы, не правда ли? Но только не педагогические — от районного отделения милиции. Педагогические советы, те, что выписывает М. С. Пик, были бы противоположными: «Доверяйте ключи детям, как это делал А. С. Макаренко».

Логика воспитателя оказывается, к сожалению, недоступной не только Б. Т. Лихачеву, но и многим другим. Эта логика, опираясь на лучшее в людях, должна звать к лучшему. Логика милиции, сторожей от воспитания, старается уберечь лишь от худшего. Она не ведет к преобразованию жизни, к развитию ее. Если и заключена в ней какая-то активность, то направлена она на сохранение статус кво.

Нужна ли такая логика? Нужна, но наполовину. Она, кстати, свойственна в основном женщинам — хранительницам очага. И это даже не социальная закономерность — биологическая. Биологи утверждают, что природа экспериментирует исключительно на мужских особях животного и растительного мира. Может, оттого-то мы с матерью частенько не можем договориться, что у нас разная логика?

Но если логика «сторожей» окажется господствующей в воспитании, всеобщей (а это вполне вероятно, когда в детских садах и школах на протяжении многих лет преобладают женщины), то о развитии человека и человечества говорить трудно.

Воспитание тем и отличается от надзора, от администрирования, что его непременным условием является единение душ, тот самый духовный контакт между взрослым и ребенком, о котором мы уже говорили, или «внутреннее одобрение требований», если пользоваться термином В. А. Сухомлинского.

Нужны требования в жизни? Можно без них обойтись? Конечно же, нет. Но если воспитатель предъявляет одни лишь требования, не дожидаясь, не достигая внутреннего одобрения их, он превращается в милиционера, в регулировщика уличного движения. «Но разве регулировщики нас не воспитывают? — спросишь ты. — Разве не помогают нам приобретать полезные привычки? Ну хотя бы переходить улицу на зеленый свет?» Помогают, еще как! Но привычки — стереотипы поведения, не более того. Воспитание по Лихачеву, воспитание-администрирование напоминает обыкновенное натаскивание, дрессировку, построенную по очень простому принципу: требование — стимул (кнул или пряник) — реакция. Тут нет и не может быть никакого творчества, никакого развития ни воспитанника (от него требуется выполнение заранее определенных норм), ни воспитателя — он следит за выполнением норм, норм, опять-таки заранее определенных кем-то. Вот и получается тупик.

Стимулом, между прочим, в Древнем Риме называли палку, которой погоняли быков и рабов... А от рабов, как известно, требовалось одно — исполнительность, послушание. Никто из них даже обыкновенную мотыгу не хотел усовершенствовать, а вот сломать — пожалуйста, только тайно, незаметно, пока надсмотрщик не видит.

Впрочем, куда ведет педагогика требований и подмена понятий в не столь обнаженном виде, ты знаешь не хуже меня. В зимние каникулы, когда я работал над этой главой, а ты уехал к тете Нине печатать фотографии, раздался телефонный звонок. Дежурная учительница из твоей школы спросила маму: «Скажите, пожалуйста, где находится Сережа?»

И она стала покорно объяснять, где ты, с кем ты. Ты — десятиклассник! Семнадцатилетний человек, которому учителя любят напоминать, что в твои годы Гайдар полком командовал. Да разве сможет человек не то что полком командовать, но хотя бы растить одного, двух детей своих, если он к окончанию школы не научился сам принимать нормальные человеческие решения, отвечать за свои поступки? Да чем же мы тогда занимались все эти годы, дорогие товарищи воспитатели?!

Но мать игнорировала мое возмущение. Она не увидела в этом звонке ни бестактности, ни оскорбления нас, нашей семьи, поставленной под надзор. Она до сих пор считает, что если порка — это действительно нехорошо, то контроль должен быть обязателен. Какой контроль? Над кем? Если сын не рассказывает тебе, где он, с кем он, о чем думает, что переживает, то контроль-то надо устанавливать над собой, разбираться, что я за воспитатель.

И перво-наперво задать себе вопрос: «Куда, к чему приведет мой контроль?» Не атрофирует ли он у моего ребенка самоконтроль? Не приучил ли я его всю жизнь жить под чужую дудку, от которой до преступления, выходит, один шаг? Крайности часто сходятся...

Подлинное воспитание — это воспитание, при котором воспитанник не бежит от воспитателя, а воспитатель не бежит за воспитанником. Нет, они устремлены навстречу друг другу. И из этих встреч и рождается нечто третье, что объединяет, обогащает и того и другого.

Подлинное воспитание — это всегда взаимовоспитание, основанное на педагогике сотрудничества. Это не только передача, но и формирование социально-исторического опыта: и переосмысление старого, и создание нового.

Да, я совсем забыл объяснить тебе, что я понимаю под словом «педагогика». Среди многочисленных определений наиболее точным я считаю определение писателя и педагога С. Л. Соловейчика: педагогика — это наука об искусстве воспитания. Да, воспитание было и останется искусством. Ибо, как и всякое искусство, оно рождается и развивается в ситуациях непредсказуемых. Можно спланировать поход, экскурсию, беседу, работу на огороде, любое другое совместное дело взрослых и детей, но никогда нельзя предсказать, как оно пройдет, в каких условиях. Вот тут-то всегда и остается простор для творчества, для искусства.

Как я уже тебе говорил, не так давно — 18 октября 1986 года — в «Учительской газете» педагогами-новаторами нашего времени: Шалвой Александровичем Амонашвили, Игорем Павловичем Волковым, Евгением Николаевичем Ильиным, Софьей Николаевной Лысенковой, Леной Алексеевной и Борисом Павловичем Никитиными, Симоном Львовичем Соловейчиком, Виктором Федоровичем Шаталовым, Михаилом Петровичем Щетининым — были сформулированы основные принципы педагогики нового демократического общества, педагогики сотрудничества. Сформулированы они для школы, для учителей, но вполне уместны, как говорится, и для домашнего употребления.

Вот некоторые из них, наиболее важные, как мне кажется:

— всегда были учителя-предметники и учителя-воспитатели, одни идут с предметом к детям, а другие с детьми идут к предмету. Вот это и есть сотрудничество с детьми. Воспитывая сотрудничеством сотрудничество, мы воспитываем коллективизм и целеустремленность. В сотрудничестве, если вдуматься, глубинно совпадают цели и средства, обучение и воспитание;

— чтобы идея сотрудничества не осталась пустым словом, она должна быть подкреплена соответствующей методикой;

— сотрудничество с детьми нельзя объявить или ввести с новой четверти, его

приходится добиваться годами;

— центральная точка такой педагогики — исключение из наших методов принуждения к учению (вспомни спор Сухомлинского и Лихачева — это его отзвуки!);

— для поддержания духа сотрудничества нужно ставить перед детьми как можно более сложную цель, указывать на ее исключительную трудность и внушать уверенность в том, что цель будет достигнута... Без общего воодушевления сотрудничества с детьми добиться трудно;

— чтобы дети чувствовали себя сотрудниками педагога, надо, где только можно, предоставлять им свободный выбор;

— лишь того можно назвать самостоятельным, независимым человеком, кто может сам вынести точную оценку своей работе, не завышенную и не заниженную, кто научен и приучен анализировать свою деятельность;

— важнее всего не образование учителя, не материальные затраты на обучение... а жизненные цели, которые он ставит перед собой;

— каждый из ребят приносит... свой мир чувств и переживаний, ничем не отличающийся от мира учителя. В этом смысле педагог и ребенок совершенно равны, они оба знают радость, страдание, стыд, страх, удовлетворение, чувство поражения и чувство победы;

— сотрудничество с учениками невозможно без сотрудничества учителей.

Эти принципы я могу назвать и своими. И не потому, что все авторы их мои добрые знакомые и друзья. Я рос, как человек, читая их статьи и книжки, работая по ним. Как росли и они сами, вчитываясь в книги В. А. Сухомлинского, Я. Корчака, А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого. Нет, мы как раз потому добрые знакомые, что так или иначе, но пришли к одним и тем же выводам, к одним и тем же принципам, которые могут и должны лечь в основу педагогики твоей школы, твоей семьи. Ведь когда эти книги и эти принципы стали ложиться в основу жизни нашей семьи, у нас стали появляться совсем другие семейные сцены.

СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНЫ

О том, что детей надо любить, ты прочтешь в любой педагогической книжке. И о том, как вредна слепая родительская любовь, тоже. И то и другое утверждение верно. Вопрос, наверное, не в том: любить или не любить детей. А в том, как мы их любим, какой любви учим и учимся у них.

Для меня любовь к тебе и Димке — это не возможность любоваться друг другом, не ублажать вас подарками, конфетами, а возможность быть вместе, вместе делать какое-нибудь общее дело. Но делать это дело так, чтобы главным оказывалось не само дело, а наше общение в ходе него. Поэтому, наверное, в сущности, не так важно, чем заниматься с вами, важно, чтобы это было для вас увлекательно, интересно. И эти интересы ни в коем случае нельзя предавать, подменять...

Но опять меня тянет в какие-то абстракции, в выведение правил. Я лучше вместо них расскажу еще об одном уроке, который ты мне невольно преподнес. Помнишь, в то лето, когда тебе исполнялось семь, а Димке полгода, я очень увлекся грибами и очень хотел, чтобы это занятие стало нашим общим, семейным. Но мать сидела с грудным Димкой. Ей, естественно, было не до грибов. И грибы привозили мы с тобой.

И вот однажды, в самом конце августа, мы поехали в Барабаново. Ехали на электричке час с лишним, потом еще час шли до леса. Когда же вышли на грибное место, увидели мужа с женой, что ехали с нами в поезде. Они добирали опять на гнилой березе, что лежала вдоль канавы. Вдоль канавы они и прошли мимо нас с тяжелой, полной корзиной.

Мне стало обидно. Я бросился рыскать вокруг, но все уже было обобрано. И полтора недорезанных опенка лишней раз напомнили, что приди мы сюда минут на двадцать пораньше, приди не твоими детскими шажками... И я заспешил. Попадались чернушки, но мне хотелось опять. Ты устал, скулил, спрашивал, скоро ли домой. Мне было жалко тебя, я уверял, что скоро, что мы и идем домой, только в Синельниково — это станция на другой железнодорожной ветке. И я показывал тебе для убедительности карту. По карте было совсем немного, каких-то полтора сантиметра. Ты верил, а мною владел азарт. И я тащил, тащил тебя за собою все дальше в лес.

Кончились ели, кончились чернушки. Но я не хотел возвращаться. Говорил о том, что настоящий мужчина должен уметь преодолевать трудности... Пошел непролазный молодой березняк. Под ногами хлюпала вода. Но мы продирались, продирались с огромным трудом через эти джунгли среднерусской полосы. Полдень. Солнце палило нещадно. Ты просил пить. Но вода уже кончалась. Наконец мы вышли... к болоту.

Благо, что на том болоте оказались танки, дзоты и еще какие-то артиллерийские мишени. Это несколько отвлекло тебя. Благо, что пушки в тот день не стреляли. И в конце концов встретился дядька,

который показал нам ближайшую дорогу назад в Барабаново, километров пять...

Но у дядьки тоже была полная корзина грибов. Не мог же я ехать в пустой в электричке. И на обратной дороге я по-прежнему искал грибы. Ты хныкал, канючил «Пошли быстрее!», протестовал. А я успокаивал, уговаривал потерпеть еще, посидеть, подождать, пока я обойду кругом вот эту полянку...

Любил ли я тебя? Жалел? Да, конечно. Но к этой любви примешивались и азарт, и тщеславие, и желание не опростоволоситься в глазах случайных встречных, желание, свойственное каждому грибнику. И любовь моя получалась какой-то пренебрежительной, снисходительной, поверхностной. Меня интересовал не ты в деле, а само дело, грибы. И мне казалось, что в твоём нытье, усталости нет ничего страшного. Мой пример обязательно заразит тебя, и мы еще не раз будем ездить вместе за грибами. Ты и едешь. Но очень редко и очень неохотно.

Домой тогда мы вернулись около девяти вечера. И хотя ты потом с радостью, вздохом рассказывал и маме и бабушкам о нашем приключении и рисовал танки среди камышей, за грибами ты не ездил со мной несколько лет, пока не подрос Димка. Так я тебя не приучил, а отучил от дела, которое могло бы стать еще одним нашим, общим. От дела, которое помогает душам становиться родственными.

Твои отнекивания от новых поездок за грибами помогли мне понять, что, да, можно быть и азартным, и увлеченным человеком, но когда рядом дети, азарт этот может быть только ради них.

С Димкой лет до девяти мы ездили в проверенные мною места, места, изученные вдоль и поперек. А случалось, что и не ездили, но это уже не становилось для меня бедой.

Ты эту сцену из нашей семейной хроники не знаешь. Ты тогда ходил с одноклассниками на байдарках по Литве, а у нас с Димкой был состоявшийся поход...

Состоявшийся поход

— Ну вот, проспал-аали! — Димка, стоявший у моей постели, тер кулаками глаза, готовые брызнуть слезами. Еще бы! Вчерашние степенные сборы, мечты об опятах ко дню рождения мамы, раннее укладывание спать — все оказалось напрасно.

— Ничего мы не проспали! Я вставал в пять часов. Но видишь, что за окном делается? — начал я его успокаивать.

— Вижу. Дождь, — выдохнул Димка более примирительно, ощущая объективность причины. Но то, что объективно для нас, взрослых, для восьмилетних — обыкновенное несчастье, которое вдруг свалилось на голову и придавило. Что же делать? Все рухнуло...

— Давай, мы лучше картину нарисуем, — попытался я отвлечь его от тяжелых мыслей. — Знаешь, как она будет называться? «Несостоявшийся поход». Будем рисовать?

— Будем...

— Слезы так и не появились. Выход был найден. Появились новые мечты, новое дело.

— Тогда шагом марш в ванную! Умываться. Завтракать. Чистить зубы. И за работу. Не пропадать же выходному!

Позавтракали мы быстро. И так же быстро творили композицию будущей картины.

— Кресло давай сюда, к окну передвинем. Шторы, как рама. Так. Теперь брось на кресло мою штурмовку. Сапоги поставь к батарее. Один пусть стоит твердо, а другой устал ждать и упал. Теперь корзины давай пустые. Одна большая, другая маленькая.

— А зачем маленькая?

— Чтобы было видно, не один взрослый собирался, но и маленький мальчик.

— Это непонятно. Корзина может быть и мамина. Давай лучше и мои сапоги поставим.

— А не слишком ли много сапог будет?

— Ну давай хоть один. А другой как будто в другой комнате остался: забыл мальчик. Ведь так бывает...

— Бывает, бывает. Ты это знаешь лучше меня...

— Я больше не буду сапоги расшвыривать и забывать. И ботинки, — уверял Димка, подтаскивая левый сапог поближе к батарее.

— Нет. Чуть правее поставь, а то его корзина закрывает, — командовал я, придирчиво осматривая композицию.

— Димка тоже смотрел придирчиво.

— Окно большое, а сапоги маленькие. Их на рисунке и не видно будет.

— У нас будет не рисунок, а картина. В жанре натюрморт.

— А что значит «натюрморт»?

— «Натюр-морт» — по-французски или по-голландски — «натура мертвая». Это художники в семнадцатом веке картины так называли, на которых только вещи, а людей нет. Но только «мертвая натура» или «мертвая природа» не совсем точно. В этих мертвых вещах жизнь человеческая отражается, настроение. Понимаешь?

— Понимаю, — как-то механически подтвердил Димка. И я задал контрольный вопрос:

— Раз понимаешь, скажи: что главное в нашей картине? Почему мы вещи у окна расположили?

Что зрителю должно бросаться в глаза в первую очередь?

— В первую очередь?.. Капли! Капли дождя на стекле! Только как мы их нарисуем? Капли ведь на слезы должны быть похожи...

— Нарисуем! Еще увидишь! Ты лучше носи бумагу и краски.

— Краски он нашел быстро. И банку с водой. А вот подходящего большого листа ватмана не было. Пришлось воспользоваться оборотной стороной нашей прежней, недописанной полгода назад картины. И лист фанеры нашелся. Укрепив ватман, я стал набрасывать контуры.

— Значит, говоришь, сапоги слишком маленькими получатся. А я вот сейчас на пол сяду, и они крупнее станут.

— Почему?

— А ты сядь рядом — увидишь.

— И правда... Почему, пап?

— Таково свойство человеческого зрения. Предметы, которые ближе, видятся более крупными, а далекие — маленькими. Вон сравни дома.

— Я знаю! Это пер... перспектива называется.

— Перспектива?! Правильно. А откуда ты это знаешь?

Димка, дитя телевека, только плечами пожал.

— А раз знаешь, давай и ее использовать. Быстро набросав контуры, я принялся за краски.

— Что надо, чтобы серые тучи получились? А серые дома? Знаешь?

— Знаю. Ты же сам мне объяснял, помнишь? Надо к белой краске добавлять черную. Не сразу, понемножку... И на бумажке пробовать.

— Правильно. Это называется — набирать палитру. А краски надо стараться всегда смешивать. Чистые цвета в жизни редко встречаются. Ведь даже серый цвет не везде одинаковый.

— Конечно. Вот дом — почти белый. Он только от дождя посерел немножко. И тучи. Тучи, пап, разные. Вон совсем почти черная. А эта светлее... А почему ты вот здесь не закрасил темно-серым? Там вон какая туча! Из нее, знаешь, как ливанет!

— И не буду закрашивать. Туча пройдет. И дождь когда-нибудь кончится, а картина наша с тобой останется. И если на ней все серым и черным кругом будет, будет у наших с тобой зрителей надежда на лучшее? Нет. Вот поэтому я и не хочу ту тучу рисовать... Мы ведь с тобой верим в лучшее, надеемся. Надеемся, что хоть завтра, но кончится дождь, и мы все-таки сходим за грибами. Вот и зрители наши должны надеяться. Поэтому я на том месте, где туча, слегка голубой краской пройду. Пусть маленький, но голубой кусочек будет...

— А как ты слезы рисуешь?

— Слезы... Ты капли имеешь в виду? Нет ничего проще. Вот видишь: ставлю точки кисточкой, линии веду, как будто капли по стеклу ползут...

— Я давно не писал красками. То ли кисточка оказалась слишком толстой, то ли навыки мои никудышными, но живопись, заброшенная где-то в седьмом классе вместе с окончанием уроков рисования в школе, отомстила. Следы капель получились слишком жирными. Картина была испорчена.

Нет, я не гармоничная личность. Всего на свете делать не умею. Картина не получилась. Но разве мне нужна была картина? Мне надо было, чтобы это дождливое холодное утро стало ярким, незабываемым в жизни Димки, в моей жизни. Но разве оно таким не стало? Разве я не научил его и себя строить из рухнувших надежд новые? Если не научил, то хотя бы показал, как это можно делать. Разве не научил, хоть немножко, образному языку, приемам живописи, умению составлять композицию, а следовательно, и читать картины? Разве не убедил в способности искусства останавливать время, преодолевать его неумолимый ход, делать из грустных мгновений прекрасные? Разве не показал, что надо думать не только о себе, о своем настроении?

Как же много мы изучили, постигли с Димкой за эти минуты! И если не поняли что-то до конца, то по крайней мере почувствовали. Мы многое открыли для себя в этом случайном и неслучайном уроке сотворчества.

Обо всем этом я совсем не думал всего лишь час назад. Мне надо было лишь остановить его слезы, переключить на что-нибудь другое. И вот что из этого получилось... Правда, дилетантизм подвел...

Но «дилетант», кажется, обозначает «любитель». А следовательно, и любознательность, и увлеченность. Может, родительский дилетантизм, умение делать все понемножку без профессионального блеска не так уж и плохо? Во всяком случае Димкин вывод заставляет подумать об этом.

— Пап, ты знаешь, здоровская у нас картина получилась! Давай мы ее маме подарим?!

— Раз ты так считаешь, то здоровская...

Я привел тебе этот эпизод, который Димка помнит и сегодня, спустя три года, еще и для того, чтобы ты понял, как дети помогают жить вкусно.

Жить вкусно можно, конечно же, по-разному. Мне иногда очень вкусно жить благодаря моей работе. Так было и в археологических экспедициях, когда я швырял землю на восемь метров, двигая отвал, и в школе на уроках, да и сейчас в газете. Но во взрослом мире мы часто, очень часто связаны, мы зависим от десятков и сотен людей, обстоятельств, случайностей. Дома с детьми мы можем подняться над этими обстоятельствами и случайностями. В этом меня убедил наш «несостоявшийся поход». А

иногда дети наталкивают нас на проблемы, которые, казалось бы, далеки от наших профессиональных интересов. Так, простая помощь Димке в решении задачи помогла мне взглянуть на проблему методов обучения с иной стороны. Я стал думать о формировании нового типа мышления, о пересмотре устаревших учебников.

Подтверждение тому — другая семейная сцена «Катина задача». Ты ее должен помнить, поскольку сам был немного ее участником.

Катина задача

Небольшое предисловие. Ты, Сергей, часто удивляешься: чего это я, ратующий за самостоятельность детей, так люблю делать уроки и с тобой, и особенно с Димкой даже сейчас, когда он переходит в пятый класс. Ну, во-первых, из-за моей лени. Ваши домашние задания — это наше совместное дело, которое не надо специально искать, придумывать. Во-вторых, где, как не тут, я могу приучать вас организовывать умственный труд: планировать свои действия, их очередность, сосредотачиваться, находить несколько вариантов решений и выбирать лучший? А главное — предупреждать ваши ошибки. Лучше предупредить, чем потом исправлять...

...Димка стал делать задачу: «У Кати был 1 руб. Она купила книжку за 64 коп. На остальные деньги она решила купить тетрадей по 4 коп. за штуку. Сколько она может купить таких тетрадей?» Решал он задачу весьма быстро:

— От одного рубля отнять 64 копейки получится... 36...

— Подожди, — остановил я. — Как же так? Из одного вычитаешь шестьдесят четыре, а получается тридцать шесть, а не минус шестьдесят три?

Что такое отрицательные числа и откуда они берутся, как ты знаешь, я ему еще на градуснике за окном объяснил, когда он был в первом классе.

— А! Понял. Рубль — это сто копеек. Отнимаем от ста... получается тридцать шесть, — поправился наш второклассник.

Следующим действием он бодренько разделил 36 копеек на 4 копейки, получил искомые 9 тетрадей и записал ответ. А я недоумевал:

— Откуда у тебя теперь появились тетради?! Ведь ты же делил копейки на копейки! А если килограммы делить на килограммы, что получится? Ящики? Пакеты? Накладные? Рубли? Откуда взялись в твоём решении тетради? Из воздуха?

Димка тоже стал недоумевать: откуда в самом деле взялись тетради?

— Да, наверное, оттуда же, откуда из одного рубля взялись тридцать шесть копеек за вычетом шестидесяти четырех.

И я ему объяснил, что такое соразмерность единиц. Нельзя от восьми пакетов отнять три килограмма и получить пять килограммов. Сначала надо узнать, сколько килограммов товара приходится на один пакет, потом помножить на число этих пакетов — узнать общий вес в килограммах, а уж потом вычитать эти самые килограммы. Число, результат — это соотношение нескольких величин в одной системе измерения. 36 копеек делятся не на 4 копейки, а на 4 копейки за одну тетрадь. При делении соотношение копеек исчезает, копейки сокращаются, а тетради остаются, как результат соотношения копеек и тетрадей.

Несколько путано, но я объяснил Димке его ошибку. Точнее, не его, а методики преподавания математики в начальной школе, отсутствие межпредметных связей в школьных программах. Ведь в шестом-седьмом классе Димку будут на уроках физики переучивать, объяснять, что при делении пути на скорость (которая есть путь за единицу времени) получается время, а он как попугай будет повторять и не увидит, что в задаче про Катю, в сущности, то же самое. Что 4 копейки за тетрадь — это те же километры в час, то же отношение двух единиц измерения. Не объясняя этого детям, мы не учим их видеть общее, сущностное в разных задачах, в разных вещах, формируем не теоретическое, а эмпирическое мышление, работающее на основе догадок, метода «тыка», метода проб и ошибок, а не на основе предсказывающих обобщений.

Вскоре пришел из школы ты. Я предложил тебе — восьмикласснику, третий год изучавшему физику, решить ту же самую «Катину задачу». Решил, вернее вычислил, ты быстро. А в ответ на вопрос: откуда взялись тетради? — недоуменно бросил: «Как откуда?! Из условия задачи!»

— А если 36 килограммов разделить на 4 килограмма, получится 9 тетрадей?

Ты не понимал, при чем тут килограммы. И тогда я предложил тебе задачу, однотипную Катиной, но близкую и к курсу физики: «Турист прошел 10 км со средней скоростью 5 км в час. Сколько времени он шел?»

— И откуда взялись часы или минуты?! — уже понимая подтекст задачи, смеялся Димка.

— Как? Опять «откуда»?! — начал снова недоумевать ты. — Десять километров разделить на пять километров... А! Километров в час! Километры сокращаются, и получается два часа.

— Так откуда взялись тетради?! — одновременно, хором с ликующим Димкой мы повторили старый вопрос.

— Там что, четыре копейки за штуку писать надо? И копейки сокращать?..

— Правильно. Это же однотипные задачи, и решаются они одним и тем же простым способом. Только у тебя, в твоём варианте записи, должны получиться не тетради, а штуки...

Для тебя, четырнадцатилетнего, наш с Димкой праздник души доходил с трудом. В нашем буйстве с тетрадями ты видел очередное чудачество отца, а я видел начало серьезного выступления в газете на тему о том, на что тратится золотое время детства в нашей стране благодаря устаревшим методикам.

Но может быть, я ошибаюсь? И навыки обобщения, умение выделять сущность появляются потом, в более зрелом возрасте, и нечего бить в колокола? Тогда я работал, как ты помнишь, в НИИ общей педагогики. И я стал предлагать «Катину задачу» научным сотрудникам, кандидатам педагогических наук. Опросил человек десять. Все они считали правильно, но вот откуда в их решении брались тетради, не мог объяснить никто. Объясняли примерно так, как ты: из условия задачи.

— А если 36 кг разделить на 4 кг, получится 9 тетрадей?

— Нет, — отвечал каждый.

Мне было очень неудобно, но я задавал наводящий вопрос:

— Хорошо, а если Катя собирала макулатуру и за каждые 4 кг ей давали тетрадь. Получит она 9 тетрадей, если соберет 36 кг макулатуры?

— Получит... Отстань! Некогда! Не лезь со своей чепухой.

Как я ни добивался, научные работники никак не могли понять, что решают задачку они ненаучным способом. И не они в этом были виноваты. Их этому никто не научил. Не переучивала их и моя задача про туриста. Сходства между задачами они не находили...

Да, оказывается, правильно писал шестнадцать лет назад академик В. В. Давыдов в своей очень важной монографии «Виды обобщения в обучении». Формированием диалектического мышления, позволяющего видеть мир в единстве и развитии, у нас до сих пор не озабочены ни составители программ, ни авторы учебников, ни учителя, ни родители. И мир оказывается у нас разбитым на «полочки», «на отсеки», никоим образом не связанные друг с другом. А если и пытаемся его объединять, то на основе внешних второстепенных признаков, на основе вещей, принципиально несовместимых, и учим этому детей, тратим лучшие их годы на решения задач с вечно мчащимися навстречу друг другу поездами, то со скоростью 60, то 45 км в час. Да разве в этом разнообразие жизни?

А разве в педагогике не так? Разве нет разницы между случайным набором разрозненных, разнотипных советов, предписаний и педагогикой сотрудничества, сотворчества, когда правила рождаются, «выводятся» сами собой?

Вот о чем заставила задуматься «Катина задача», успевшая стать и Димкиной, и моею. А еще она лишний раз заставила подвергнуть сомнению старую аксиому о единстве требований педагогов. Нет и не может быть единства, если требования ошибочны, ложны. Единными и у воспитателей, и у воспитанников — у всех должны быть не требования, а сомнения, проблемы. Только тогда на смену педагогике нажима, насилия, натаскивания сможет прийти педагогика сотрудничества, воспитывающая опять-таки всех и все... Воспитывающая не только новое мышление, но и элементарные навыки. В этом убеждают не только «Катина задача», но и «Чистые зубы».

Чистые зубы

В тот день зимних каникул, когда звонила дежурная учительница из твоей школы, мама и Димка приехали от тети Нины поздно, часов около одиннадцати вечера: не хотели мешать мне в работе над этой книжкой. Но разве может помешать Димка?

После ужина, очень позднего ужина, он весьма ярко продемонстрировал: и кто воспитывает воспитателя, и как педагогика сотрудничества решает проблему чистки зубов без принуждения, без наказаний. А еще то главное, о чем я продолжаю повторять тебе: понимание другого человека. И это в десятилетнем возрасте! Поверь моему опыту: не многие взрослые даже с высшим образованием обладают этим качеством.

Мы, не видевшие друг друга почти двое суток, конечно же, сразу же стали болтать. Димка стал расспрашивать меня, над чем я сейчас работаю. Я попытался объяснить... А маму, естественно, волновало другое, чтобы ребенок побыстрее почистил зубы и ложился спать. Должен же мальчик хоть в каникулы выспаться.

— Поздно, Дима! — напомнила она.

— Сейчас, мам. Мне еще пока нельзя чистить зубы. Я конфетку сосу. Сосательную... И у меня

вторая есть...

— А ты, папа, не курил бы при ребенке! — сказала несчастная женщина, вынужденная столько лет мучиться с тремя мужчинами, у которых на все свои резоны. Но, прикрывая за собой дверь, она все же сочла необходимым напомнить, что чистые зубы теперь на моей совести.

— Ну вот тебе, будущий учитель начальных классов, и педагогическая задачка! — обрадовался я, делая последнюю затяжку. (Димка четвертый год мечтает об этой профессии без всякой агитации!)

— Какая задача? — удивился Димка.

— Простая, самая что ни на есть житейская: надо чтобы ребенок зубы почистил, а он не хочет — конфетку сосет. Вот как бы не я, а мама решила такую задачку?

— Мама? Мама шлепнула бы по попе и отправила бы меня в ванную... Или... вытащила бы у меня конфетку изо рта... Или, нет, расстроилась бы очень — и я бы пошел и почистил зубы, а потом просил бы прощения. И жалел бы ее...

— Ну а папа? Как бы папа решил ту же задачку?

— Папа бы сказал: пойдём чистить зубы вместе. Так веселее!

— Ну а ты?

— А я? Я бы конфетку сосал. Пососал бы первую, начал бы вторую...

— Ты не понял. Я не про тебя сегодняшнего спрашиваю. Вот ты вырастешь, и у тебя будет твой сын десяти лет. Как ты поступишь в таком случае?

— Пусть себе сосет. Я его понимаю.

— Да, но ты будешь понимать и другое: нечищенные зубы быстрее выпадают, пища хуже пережевывается, желудок хуже работает... Представляешь всю цепочку дальше?

— Представляю. Пищи меньше — человек хуже соображает, недоразвитым растёт... Я бы, знаешь, что. Я бы рассказал ему сказку. Про царевича, который любил сосать конфеты и очень боялся зубных врачей, их сверл и клещей и не любил чистить зубы. И они у него сначала болели, а потом выпали все... Ну и все такое... И пусть сам делает выводы — надо ему чистить зубы или не надо.

Как видишь, за Димку и его детей я спокоен. Он умеет делать выводы. И не только о зубах...

ПОПРОБУЕМ И МЫ СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ

Кто воспитывает воспитателя? Вопрос парадоксальный, но думается, что ответ на него более или менее для тебя ясен: никто, если человек, став взрослым, став воспитателем, считает себя уже воспитанным и ему остается лишь воспитывать других, передавать свой общественно-исторический опыт, или, как писал Януш Корчак, воспитатель спешит «осваивать особые права взрослых: смотреть не за собой, а за детьми, регистрировать не свои, а детские вины». Заняв такую позицию, вроде бы predetermined возраст и положением в семье, в обществе, ты становишься если не слепым и глухим, то по крайней мере весьма ограниченным человеком, человеком, малоспособным к развитию. Происходит это и в том случае, если выражаться словами того же Януша Корчака, когда «мы объяснились с собой и примирились, простили себя и освободили от обязанности исправляться». И только сетуем на то, что плохо нас воспитали, — надо бы исправляться, да поздно...

Нет, никогда не поздно, если понимаешь, что воспитание процесс не односторонний, а двусторонний, что воспитание возможно только как взаимовоспитание, в противном случае оно превращается в администрирование, в раздачу указаний. Никогда не поздно, если понимаешь, что жизнь противоречива, и правом возвышаться, быть лидером, вести за собой, если ты стремишься к развитию, может и должен обладать каждый. И взрослый, и ребенок, и семья, и школа, и ныне живущие, и оставшиеся только в книгах люди. Ибо право быть воспитателем на самом-то деле не дается никем, оно добывается каждый раз трудом. И прежде всего трудом души.

Вспомни, разве не стала воспитателем для тебя, твоих одноклассников, для многих учителей Лена Бессольцева, когда вы смотрели знаменитый фильм Р. Быкова «Чучело»? А разве не становится вождем, лидером, воспитателем автор любой интересной идеи, поступка? Воспитанность воспитателя не вечна, а всегда конкретна и всегда относительна.

В последнее время ты часто спрашивал: зачем надо заниматься обществоведением, зачем всем надо уметь разбираться в тонкостях каких-то там философских категорий? Какое это имеет отношение к нашей обыденной, повседневной жизни?

Надеюсь, теперь понял — самое прямое. Наше мировоззрение определяет и наше миропонимание, позволяет увидеть в старом, привычном — новое. И создавать это новое, и обновлять себя самого.

Революционная практика — это не только политическое понятие, но и самое что ни на есть педагогическое. Практика преобразования, перестройки — в ней ответ на вопрос: «кто воспитывает воспитателя?» Ведь революционная практика — это одновременное преобразование окружающего мира и самого себя в совместном творчестве, в сотворчестве разных людей, в том числе взрослых и детей. Преображение жизни — вот что воспитывает каждого человека. И еще — надо научиться всматриваться в детей, ибо им принадлежит ведущая роль в преобразовании жизни.

Да-да, детям. Несмышленным, неразумным, необразованным так широко и глубоко, как взрослые. И не потому, что дети — «чистые родники незамутненного детства». Дети были и остаются главными в преобразовании жизни, главными воспитателями взрослых потому, что они, и ты в том числе, как и твои будущие дети, и наше зеркало, и наше будущее, и наши судьи.

Нет, не нам, старшим, а им, младшим, в конце концов решать, что взять от нас, какой «общественно-исторический опыт». И в этом смысле дети всегда над взрослыми, они над нами, а не мы над ними, как будут над ними их дети.

Дети — наши главные воспитатели еще и потому, что если мы хотим свое будущее, свое продолжение видеть лучше, совершеннее, то и к детям должны мы быть обращены лучшими своими сторонами. Нет, не специально придуманными образцово-показательными, а именно лучшими. Это понимала (да мы-то час то забываем) даже самая дикая крестьянка из самой дикой и глухой деревни, вынося навстречу разбушевавшемуся мужу, пьянице и супостату, дитя. И преображался человек. Во всяком случае хотел стать лучше. Ибо дети были и остаются началом человеческой совести. Без совести даже от самой умной науки, даже от самых благих намерений проку мало. Если дети не учат, не воспитывают тебя, то пользы от самых добрых и умных советов и наставлений, рецептов и пожеланий будет мало. В книжках, какими бы они ни были хорошими, жизнь прошлая, застывшая. Живая жизнь в детях.

Вот, пожалуй, мой главный вывод. А какие сделаешь ты, посмотрим...